



ВЕК:
ПОЭТ И ВРЕМЯ

Стихотворения
и поэмы

НИКОЛАЙ
КЛЮЕВ





БИБЛИОТЕКА



ВЕК
ПОСТ И ВРЕМЯ

ВЫПУСК

14





НИКОЛАЙ
КЛЮЕВ

**Стихотворения
и поэмы**

Москва
«Молодая гвардия»
1991

ББК 84Р7
К 52

Составитель,
автор вступительной статьи
и примечаний
Станислав Куняев

Оформление серии
Елены Ененко

Иллюстрации
Александра Стройло

К $\frac{4702010202-123}{078(02)-91}$ 166—91

ISBN 5-235-01259-3

© Клюев Н. А., 1991.
© Куняев Ст. Ю.,
составление.

ЖИЗНЬ — ОКЕАН МНОГОЗВОННЫЙ...

Пожалуй, ни у кого из русских поэтов судьба личная и судьба творческая не были столь загадочны и противоречивы, как у Николая Клюева. Таинственны были его жизнь и его смерть, во многом еще непонятой остается его поэзия. Оценки, данные ему современниками, пристрастны и односторонни.

«Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Клюева... по приезде прочту тебе. Это — документ огромной важности (о современной России — народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах» (А. Блок, 1908 г.).

«Клюев — большое событие в моей осенней жизни» (он же, 1911 г.).

«Клюев пришел с величавого Олонца, где русский быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важности и простоте.

Клюев народен потому, что в нем сживается ямбический дух Боратынского с вещим напевом неграмотного олонцкого сказителя» (О. Мандельштам, 1916 г.).

«Клюев, за исключением «Избятных песен», которые я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом» (С. Есенин, 1918 г.).

«Из поэтов-современников нравились мне больше всего Блок, Белый и Клюев» (он же, 1925 г.).

«В стихах типа Клычкова и Клюева мы видим вос-

ревание косности и рутины... словом, апологию «идиотизма деревенской жизни» (А. Безыменский, 1934 г.).

«Любовь к природе в творчестве этих писателей — только антитеза ненависти к городу, фабрике, машине, пролетариату, а синтез — это власть кулачья, построенная на богом данной природе» (О. Бескин — о творчестве Клычкова и Клюева, 1930 г.).

«Старые реакционные писатели типа Клычкова и Клюева к крестьянским писателям Советского Союза не имеют никакого отношения» (журнал «На подъеме», 1929 г.).

Даже по этим нескольким суждениям можно видеть, какое сложное наследство оставил Клюев своим современникам и потомкам. Наследство, беспристрастная оценка которого становится возможной лишь в наше время.

* * *

Николай Алексеевич Клюев (1884—1937) родился в деревне Коштуги Вытегорского уезда Олонецкой губернии (ныне территория Вологодской области). Мать Клюева — Прасковья Дмитриевна, была талантливой сказительницей и плачей. Ее памяти поэт впоследствии посвятил «Избятные песни» — один из лучших своих стихотворных циклов. Первые стихи Клюева появились в печати в 1904 году. До этого он учился в Петрозаводской фельдшерской школе, жил на Соловках — на «выучке» у соловецких старцев. За участие в революционных волнениях 1905 года поэт в 1906 году был заключен в вытегорскую, а позже в петрозаводскую тюрьму.

В 1911—1912 годах вышли первые книги Клюева «Сосен перезвон» и «Братские песни», принесшие ему известность. Клюева сразу же заметили Александр Блок и Николай Гумилев, Осип Мандельштам и Анна Ахматова, Андрей Белый и Сергей Городецкий.

В 1915 году Николай Клюев познакомился с Есениным, их дружба-вражда продолжалась до самой есенинской смерти.

Октябрьскую революцию Николай Клюев встретил восторженно. Ей он посвятил книги стихотворений «Медный Кит» (1918 г.), «Львиный хлеб» (1922 г.), «Четвертый Рим» (1922 г.).

С 1923 года Клюев жил в Ленинграде, часто навещая и Олонецкую губернию.

В 1926 году поэт пишет поэмы «Заозерье» и «Деревня», через два года выходит последняя его прижизненная книга «Изба и поле». За последующие десять лет Клюев, вытесненный из литературной жизни критиками рапповского толка и всяческими «ненстовыми ревнителями» и «вульгарными» социологами, опубликовал лишь четыре стихотворения в газете «Страна Советская» (1932 г.).

В начале тридцатых годов Николай Клюев переехал в Москву. Эти годы были расцветом его творчества, множество стихотворений, поэма «Песнь о Великой Матери» и одновременно с этим жизнь в полной нищете, травля в печати, посильная помощь друзей, предчувствия неизбежной гибели. В феврале 1934 года Николай Клюев по ордеру, подписанному заместителем председателя ОГПУ Яковом Сауловичем Аграиовым (Сорендзоном), был арестован в своей комнатухе в Гранатном переулке. Через две недели ему было предъявлено обвинение в контрреволюционной пропаганде (статья 58-10), он был судим Особым Совещанием при коллегии ОГПУ и сослан на пять лет в поселок Колпашево Томской области. Осенью того же года после ходатайства артистки Н. А. Обуховой, поэта С. А. Клычкова и, возможно, А. М. Горького он был переведен на поселение в Томск, где прожил в роли ссыльного, в нищете и болезнях, до осени 1937 года. В октябре 1937 года

поэт снова был арестован и расстрелян. Где он похоронен — неизвестно. Совсем недавно стали известны подробности дела Николая Клюева, хранящегося в архивах КГБ. Арестован он был за чтение на квартирах своей поэмы «Погорельщина», в деле был обнаружен цикл его стихотворений «Разруха». В том же следственном деле сохранился протокол допроса поэта, из которого нельзя не процитировать несколько отрывков, красноречиво говорящих о великом мужестве и самоотверженности, о самопожертвовании и русском священном патриотизме Николая Клюева. Он знал, что своими ответами подписывает себе смертный приговор, но, как его пращур Аввакум, предпочел смерть бесчестию и отказу от убеждений.

«Осуществляемое при диктатуре пролетариата стронтельство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о Древней Руси. Отсюда мое враждебное отношение к политике компартии и Советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны. Практические мероприятия, осуществляющие эту политику, я рассматриваю, как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью».

«Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни, причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей».

«Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я и был, проводимая коммунистической партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение».

А в письме из голодной, холодной, лагерной колпашевской ссылки он писал своему ближайшему другу Сергею Клычкову:

«Я сгорел на своей «Погорельщине», как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи...»

В одном я только не согласился бы с пророческими словами поэта: сгорел он не только на «Погорельщине», но и на своей истовой любви к матери-России...

* * *

В страстной речи на VI съезде писателей РСФСР Федор Абрамов призвал нас с благодарностью помнить о тысячелетней истории старой деревни: «А что это значит — уходит старая деревня в небытие? — спрашивал он и сам отвечал — А это значит, рушатся вековые устои, исчезает та многовековая почва, на которой всколосилась вся наша национальная культура, ее этика и эстетика, ее фольклор и литература, ее чудо-язык, ибо, перефразируя известные слова Достоевского, можно сказать: все мы вышли из деревни — наши истоки, наши корни. Деревня — материнское лоно, где зарождается и складывается наш национальный характер».

Михаил Пришвин пронизательно заметил, что «наша поэзия происходит из недр природы, когда мы десятки тысячелетий в борьбе за кусок хлеба тесно сближались с ней. Поэзия эта вышла как победа, когда стальной узел необходимости был развязан...». Эта мысль, по-моему, абсолютно точна по отношению к поэзии Николая Клюева, которая сама порой демонстрирует связь «недр природы», «куска хлеба» и, наконец, «слова».

Сготовить деду круп, помочь развесить сети,
Лучину засветить и, слушая пургу,
Как в сказке, задремать на тридевять столетий,
В Садко оборотясь иль в вещего Волюгу.

Связь крестьянской работы с творчеством, перетоки одной стихии в другую, «седых веков наследство, поклон Вам, труд и пот!» — вот чего не понимали гонители Клюева, объявляя его «кулацким поэтом» и забывая о том, что крестьянин «не только у нас, а во всем мире является практиком и реалистом».

Рождество избы (не просто «рождение»!) для Клюева акт больше чем физически материальный: почти религиозный, потому-то он так дерзко сравнивает его с рождением божества, ставя на «святое» место творенье рук человеческих, освященное тысячелетней традицией.

От кудрявых стружек тянет смолюю,
Духовит, как улей, белый сруб.
Крепкогрудый плотник тешет колья,
На слова медлителен и скуп.

Тепел паз, захватисты кокоры,
Крутолоб тесовый шоломок.
Будут рябью писаны подзоры
И лудяжкой выпестрен конек.

Культ материальной жизни у Клюева порой приобретает в его полемике с «нетрудовым» взглядом на культуру крайние формы, упрощающие картину бытия:

Олений гусак сладкозвучие Глинки,
Стерляжьн молоки Верлена нежней,
А бабкина пряжа, печные тропинки
Лучистее славы и неба святей.

И тем не менее все это говорит о весьма древнем генезисе главных клюевских идей, почерпнутых из океана народных представлений о жизни. Отсюда и неизбежное присутствие во всех даже самых духовно «дистиллированных» стихах «земной тяжести», «житейской заботы», не позволяющей человеку слова забывать о человеке труда, о

стальном узле необходимости, который, если забыть о нем и ослабить сопротивление, тут же начнет завязываться снова... Искусство, по мысли Клюева, есть не забвение этого тяжкого труда, но праздничная передышка во время работы, о которой народу никогда нельзя забывать.

Не удачлив мой путь, тяжек мысленный воз!
Кобылица-душа тянет в луг, где цветы,
Мята слов, древозвук, купина красоты.
Там под Дубом Покоя, накрыты столы,
Пиво Жизни в сулеях, и гости светлы...

Критикуя тяжеловесную, земную, статичную поэтику Клюева, иные литераторы противопоставляют ему «воздушность» Блока, «моцартианство» Есенина, цитируют стихи последнего о Клюеве:

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница крылом махая,
С земли не может улететь.

Но дело в том, что легкость, грациозность, воздушность, «моцартианство» не исчерпывают целиком многогранность русского художественного гения, создавшего глубинную статику иконописи, тяжеловесную поступь былин, архитектурно-монументальную музыку Мусоргского.

Именно всепоглощающая страсть к заземлению всего идеального, духовного и даже религиозного сводит в поэзии Клюева архангелов, святых, апостолов с горних высот в олоушечную избу, в теплый хлев, чтобы все эти Медосты, Спасы, Митрии, Николы помогали мужику в его земных нелегких трудах. Шестикрылый Серафим у Клюева не потустороннее существо, а скорее «хозяин», «домовой»:

Он повадился телке недужной
Приносить на копыто пластырь —
Всей клевушки поводырь и пастырь
В ризе непорочно-жемчужной.

Порой святые Клюева напоминают нам языческих богов греческого Олимпа; да и не только их: людей труда, творцов обыденной жизни и красоты он ставит в один иконостас, в один красный угол с угодниками, апостолами, великомучениками.

Батрак, погоищик, плотник и кузнец
Давно бессмертны и богам причастны:
Вы оттого печальны и несчастны,
Что под ярмо не нудили крестец,—

пишет Клюев, создавая полный апофеоз труда, столь свойственный русской классике, и полемизируя с представителями декадентской поэзии начала века.

Свободный, осознанный как необходимость труд — не проклятье, а награда самому себе, естественное условие человеческого существования, гарантирующее человеку независимость и достоинство,— вот мысль, которой оставался поэт верен всю жизнь, даже в самые худшие времена, когда, сознательно упрощая его творчество, закрывая глаза на достоинства и всемерно преувеличивая слабости поэта, критики писали о нем, как об одном из «виднейших представителей кулацкого стиля в русской литературе». Впрочем, оно и неудивительно, потому что подобная критика руководствовалась во многом положениями троцкизма, который всегда видел в крестьянстве классового врага и который всегда стремился преобразовать творческий и свободный труд крестьянина в труд принудительный, основанный на казарменных принципах.

Кулацким поэтом Клюева называли те, кто в угаре вульгарного социологизма неосознанно либо сознательно подме-

нял эстетику идеологией, а иногда и просто сиюминутной полтикой.

Сергей Есенин в своей автобиографии писал: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном». То же самое мог, видимо, сказать о себе и Клюев, с одной лишь поправкой, что его «уклон» был гораздо круче и «догматичнее», чем уклон есенинский. Клюев вообще по натуре был художником аввакумовского склада. То, что у другого поэта могло быть сомнением, предположением, вопросом, у Клюева почти всегда становилось ответом и вырастало до морального и эстетического императива.

«Крестьянский уклон» в принятии революции у Клюева заключался прежде всего в том, что он принял ее как осуществление народной мечты о божественной справедливости, совпадавшей для него со справедливостью социальной.

С простодушной наивностью крестьянина он восклицает в 1917 году:

Хлеб да соль, Костромич и Волынец
Олончанин, Москвич, Сибиряк!
Наша Волюшка — божий гостинец —
Человечеству светлый маяк.

Но случилось так, что прекраснородушное восторженное чувство в эпоху разгара классовой борьбы и разрыва времени, это умиление перед будущим оказалось так далеко от реальной жизни, что рано или поздно должно было найти для себя единственный исход — разрешение через трагедию.

И, однако, все не так просто, как изображено в легенде, созданной о Клюеве после революции рапповскими и пролеткультовскими идеологами. По их утверждениям, «антитехинцизм» поэта был оппозицией новой жизни, социализму, техническому прогрессу. Но борьбу с «железом»

как символом бездуховного стандарта буржуазной цивилизации Клюев начал еще до революции. Антибуржуазный пафос Клюева возникает не «справа», не с позиций вчерашнего патриархально-идиллического времени, а с вечной точки зрения Искусства и гуманизма.

Сын железа и каменной скуки
Попирает берестяный рай.

(1915)

Железный небоскреб, фабричная труба,
Твоя ль, о Родина, потайная судьба!

(1917)

В данном случае у Клюева «железо» — символ всего враждебного жизни, природе, культуре. Надо вспомнить, что мысль такого рода одолевала в то время многих русских поэтов.

Еще одна неправда, которую современная Клюеву критика «навесила» на его творчество, гласила, что вся сказочно-суеверная, мифологически-религиозная часть наследия Клюева — абсолютно реакционна и враждебна новой жизни.

Да, действительно, сказка, миф, причитания, плач — основы клюевской поэтики. Но его страх за их судьбу — есть страх за судьбу Красоты. «Не железом, а красотой купится русская радость», — говорил Клюев. Красоту же, по его мысли, во времена, враждебные прекрасному, надо спасать самое... И поэт спасает ее средствами поэтического слова:

О, русская доля — кувшиновый волос
И вербная кожа девичьих локтей,
Есть слухи, что сердце твое расколосось,
Что умерли прялки и скрипки лаптей,

Что в куиьем раю громыхает Чнкого,
И Сиринам в гнезда Парнж заглянул.
Не лжет ли перо, не лукава ль бумага,
Что струнного Спаса пожрал Вельзевул?

Сказки для Клюева — свидетельство жизненной силы, жизнеутверждающей земной воли. Жива сказка — значит, не нс-сякли «ложесна бытия».

То, что тенденциозные критики считали реакционной сутью поэзии Клюева, было, в сущности, тоской по красоте и тревогой за ее судьбу.

Все якобы религиозные концепции мира в творчестве Клюева есть наивная народная сказка — мечта о райской жизни.

Ну разве не сказка картина похорои матери, перемежаемая великой мечтой о реках молочных с кисельными берегами? Журавли, уносящие душу матери к этим обетованным берегам, трубят:

Мы матери душу несем за моря,
Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы
От мис с киселем, словно кипень, белы.
Там Митрий Солунский, с Миколою Влас
Святых обряжают в камлот и атлас...

Клюев трагически воспринимал всякие свидетельства упадка крестьянского искусства и культуры в двадцатом веке — для него эти факты говорили не просто о судьбах культуры, но о вырождении самой жизни, ее «зеленого пастбища», тех ее форм, какие поэт считал наиболее мощными и необходимыми для человечества.

«Древо песни бурею разбито», «А Сирин на шестке сидит с крылом подбитым, щипля сусальный пух и сетуя на мир».

Таким же «Сирином» с подбитым крылом чувствовал

себя Клюев в последние годы жизни, полные страшного одиночества. Он «провозгласил анафему» своего времени, но и его, в отместку, исказили и по-своему истолковали суть его поэзии, вытеснили самого из литературной и гражданской жизни, предъявив поэту такие обвинения, за которые он не мог нести ответственность.

Пророческий и проповеднический пафос Клюева к концу жизни иссякает, аввакумовская нетерпимость гаснет, и ей на смену постепенно приходит убеждение, что не поучение и проповедь, не «перст указующий», а «красота спасет мир», что «красотой купится русская радость». Конечно, такая смена мировоззрения для проповедника — поражение и полный крах, но для поэта может стать своеобразной победой. Не потому ли стихи Клюева последних лет зазвучали по-новому. Читая их, я невольно вспомнил размышления Блока о поздней поэзии Пушкина:

«И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит,—
это предсмертные вздохи Пушкина и также вздохи культуры пушкинской поры».

Продолжая эту мысль, можно сказать, что Николай Клюев умер, потому что вместе с ним и на его глазах умирала родная ему великая крестьянская культура прошлого, исчезающая, словно громадный и сказочный Китеж-град.

«Игуменский окрик», злоба дня, расколыническая гордыня в предсмертных стихах Клюева заметно уступили место гармоничности чувств, лирическому приятию жизни, ощущению ее самоценности. Плетью обуха не перешибешь! Но коли так, то «по жизни радуйтесь со мной...», глядите во все глаза на «зеленое пастбище жизни...».

Не потому ль столь явственно в последних стихах Клюева есенинское благословение миру:

Падает снег на дорогу —
Белый ромашковый цвет.
Может, дойду понемногу
К окнам, где ласковый свет?
Топчут усталые ноги
Белый ромашковый цвет.

.
Жизнь — океан многозвонный —
Путнику плещет вослед.
Волгу ли, берег ли Роны —
Все принимает поэт...
Тихо ложится на склоны
Белый ромашковый цвет.

* * *

Клюева хоронили не раз и друзья и враги... В иные времена казалось даже, что жестокий приговор поэта В. Князева: «Клюев умер. И никогда уже не воскреснет: не может воскреснуть — нечем жить», вынесенный им в книге «Ржанные апостолы» (1924 г.) приговор окончателен, утверждеи временем и обжалованию не подлежит.

Отмахиваясь от беспощадно ранящих нападков, поэт в конце двадцатых годов угрюмо обронил:

Он жив, олоонецкий ведун,
Весь от снегов и выюжных струи
Скуластой туидровой луной
Глядится в яхонт заревой.

...И, однако, в тридцатые, сороковые и даже пятидесятые годы трудно было поверить, что поэзия Клюева еще заставит кого-то задуматься, еще будет издаваться, еще найдет себе в будущем читателя и исследователя. Слишком уж широкая трещина прошла между коренными идеями времени и фантастическим укладом жизни — и настоящей

и будущей,— который славил и проповедовал со страстью Савонаролы и Аввакума «олонецкий ведун». Но «нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»: почти через сорок лет после кончины Клюева поэт Николай Тряпкин вдруг осознает, что, опровергнув все пророчества, поэзия Николая Клюева, как озимь, постояв положенный срок под снегом, выжила, зазеленела и вновь заставила вспомнить и заговорить о себе:

Где скрылся он — тот огнепалый стих?
Он где-то в нас — под нашей тайной клетью.
Знать, так живуч смиренный тот жених —
Сей Аввакум двадцатого столетья!

Он сам себе был жертва и судья.
Он крепко спит — крамольник из Олонца,
Но этот крик, та звонкая струя
Из тех лесов, где столько тьмы и солнца.

Пускай придут и вспомнить, и почтить,
И зачерпнуть из древнего колодца...
Мы так его стараемся забыть,
А все забыть никак не удастся.

За последнее десятилетие к «звонкой струе» поэзии Клюева потянулись многие. Немало вышло публикаций его стихов, немало статей, комментариев, предисловий...

Последняя при жизни книга Клюева «Изба и поле» вышла в 1928 году, а следующая — лишь через 50 лет. Полвека забвения, настоящее, а не условное испытание временем, которое лучшая часть клюевского духовного мира, наделенного крестьянской выносливостью и терпением, чудом, но выдержала...

Станислав КУНЯЕВ

Стихотворения и поэмы

* * *

Я надену черную рубаху
И вослед за мутным фонарем
По камням двора пройду на плаху
С молчаливо-ласковым лицом.

Вспомню маму, крашеную прялку,
Синий вечер, дрему паутины,
За окном ночующую галку,
На окне любимый бальзамин,

Луговин поемные просторы,
Тишину обкошенной межи,
Облаков жемчужные узоры
И девичью песенку во ржи:

Узкая полосынька
Клинышком сошлась —
Не вовремя косынька
На две расплелась!

Развилась по спинишке,
Как льняная плетъ,—
Не тебе, детнишке,
Девушкой владеть!

Деревца вилавого
С маху не срубить —
Парня разудалого
Силой не любить!

Белая березынька
Клонится к дождю...
Не кукуй, загозынька,
Про судьбу мою!..

Но прервут куранты крепостные
Песню-думу боем роковым...
Бред души! То заводи речные
С тростником поют береговым.

Сердца сон, крошечный, как могила!
Опустил свой парус рыбарь-день.
И слезятся жалостно и хило
Огоньки прибрежных деревень.

1908

АЛЕКСАНДРУ БЛОКУ

I

Верить ли песням твоим —
Птицам морского рассвета, —
Будто туманом глухим
Водная зыбь не одета?

Вышли из хижны мы,
Смотрим в морозные дали:
Духи метели и тьмы
Взморье снегами сковали.

Тщетно тоскующий взгляд
Скал испытует граниты, —
В них лишь родимый фрегат
Грудью зянет разбитой.

Долго ль обветренный флаг
Будет трепаться так жалко?..
Есть у нас зимний очаг,
Матери мерная пралка.

В снежности синних ночей
Будем под прялки жужжанье
Слушать пролет журавлей,
Моря глухое дыханье.

Радость незримо придет,
И над вечерними нами
Тонкой рукою зажжет
Зорь незакатное пламя.

2

Я болен сладостным недугом —
Осенней, рдяною тоской.
Нерасторжимым полукругом
Сомкнулось небо надо мной.

Она везде, неуловима,
Трепещет, дышит и живет:
В рыбацкой песне, в свитках дыма,
В жужжанье ос и блеске вод.

В шуршанье трав — ее походка,
В нагорном эхо — всплески рук,
И казематная решетка —
Лишь символ смерти и разлук.

Ее ли косы смоляные,
Как ветер смех, мгновенный взгляд...
О, кто Ты: Женщина? Россия?
В годину черную собрат!

Поведай: тайное сомненье
Какою казнью искупить,
Чтоб на единое мгновенье
Твой лик прекрасный уловить?

1910







В златотканые дни сентября
Минтся папертью бора опушка.
Сосны молятся, ладан куря,
Над твоей опустелой избушкой.

Ветер-сторож следы старнны
Замечает листвой шелестящей.
Распахни узорочье сосны,
Промелькни за березовой чашей!

Я узнаю косынки кайму,
Голосок с легковейной походкой...
Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звезд за решеткой.

Про бубенчик в жестоком пути,
Про седые бурятские дали...
Мир вам, сосны, вы думы мон,
Как родимая мать, разгадали!

В поминальные дни сентября
Вы сыновнюю тайну узнайте
И о той, что погибла любя,
Небесам и земле передайте.

1911



На песню, на сказку рассудок молчит,
Но сердце так странно правдиво,—
И плачет оно, непонятно грустит,
О чем? — знают ветер да ивы.

О том ли, что юность бесследно прошла,
Что поле заплакано-нище?
Вон серые избы родного села,
Луга, перелески, кладбище.

Вглядись в листопадную страничку даль,
В болот и оврагов пологость,
И сердцу-дитяти утешной едва ль
Почуется правды суровость.

Потянет к загадке, к свирельной мечте,
Вздохнуть, улыбнуться украдкой
Задумчиво-нежной небес высоте
И ивам, лепечущим сладко.

Приминется чертогом — покров шалаша,
Колдуньей лесной — незабудка,
И горько в себе посмеется душа
Над правдой слепого рассудка.

1911



Я обещаю вам сады...

К. Б а л ь м о н т

Вы обещали нам сады
В краю улыбочиво-далеком,
Где снедь — волшебные плоды,
Живым питающие соком.

Вещали вы: «Далекнх зла,
Мы вас от горестей укроем,
И прокаженные тела
В ручьях целительных омоем».

На зов пошли: Чума, Увечье,
Убийство, Голод и Разврат,
С лица — вампиры, по наречью —
В глухом ущелье водопад.

За ними следом Страх тлетворный
С дырявой Бедностью пошли,—
И облетел ваш сад узорный,
Ручьи отравой потекли.

За пришлецами напоследок
Идем неведомые Мы,—
Наш аромат смолист и едок,
Мы освежительней зимы.

Вскормили нас ущелий недра,
Вспонл дождями небосклон,
Мы — валуны, седые кедры,
Лесных ключей и сосен звон.

1910



Сготовить деду круп, помочь развесить сети,
Лучину засветить и, слушая пургу,
Как в сказке, задремать на тридевять столетий,
В Садко оборотясь иль в вешего Вольгу.

«Гей, други! Не в бою, а в гусях нам удача,—
Соловке-игруну претит вороний грай...»
С полатей смотрит Жуть, гудит, как било, Лаче,
И деду под кошмой приснился красный рай.

Там горы-куличи и сыченые реки,
У чаек и гагар по мисе яйцо...
Лучина точит смоль, смежив печурки-веки,
Теплыню дышит печь — ночной избы лицо.

Но уж рыжее даль, пурговою метлищей
Рассвет сметает темь, как из сусека сор,
И слышно, как сова, спеша засесть в дуплище,
Гогочет и шипит на солнечный костер.

Почуя скитный звон, встает с лежанки бабка,
На ней пятно зари, как венчик у святых,
А Лаче ткет валы размашисто и хлябко,
Теряясь во мхах и в даях ветровых.

1912

Радость видеть первый стог,
Первый сноп с родной полоски,
Есть отжиночный пирог
На меже, в тени березки,

Знать, что небо ввечеру
Над избой затеплит свечки,
Лики ангелов в бору
Отразят лесные речки.

Счастье первое дитя
Усыплять в скрипучей зыбке,
Темной памятью летя
В край, где песни и улыбки.

Уповать, что мир потерь
Канет в сумерки безвестья,
Что, как путник, стукнет в дверь
Ангел с ветвью благовестья.

1913



Теплятся звезды-лучинки,
В воздухе марь и теплынь, —
Веселы будут отжинки,
В скирдах духмяна полынь.

Спят за омежками риги,
Роща — пристанище мглы,
Будут пахучи ковриги,
Зимние избы теплы.

Минет пора обмолота,
Пуща развихрит листы, —
Будет добычна охота,
Лоски на слищах холсты.

Месяц засветит лучинкой,
Скрипит под лаптем снежок...
Колобы будут с начинкой,
Пареи матер и высок.

1913

* * *

Обозвал тишину глухоманью,
Надругался над белым «молчи»,
У креста простодушною данью
Не поставил сладимой свечи.

В хвойный ладан дохнул папиросой
И плевком незабудку обжег.
Зарябило слезинками плесо,
Сединою занидевел мох.

Светлый отрок — лесное молчанье,
Помолясь на заплаканный крест,
Закатилось в глухое скитанье
До святых, незапятнанных мест.

Заломила черемуха руки,
К норке путает след горностай...
Сын железа и каменной скуки
Попирает берестяный рай.

1915

РОЖЕСТВО ИЗБЫ

От кудрявых стружек тянет смолюю,
Духовит, как улей, белый сруб.
Крепкогрудый плотник тешет колья,
На слова медлителен и скуп.

Тепел паз, хватисты кокоры,
Крутолюб тесовый шоломок.
Будут рябью писаны подзоры
И лудяикой выпестрен конек.

По стене, как зернь, пройдут зарубки:
Сукрест, лапки, крапница, рядки,
Чтоб избе-молодке в красной шубке
Явь и сонь мерещились — легки.

Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепы как письмены:
Запоет резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.

И когда оческами кудели
Над избой взлохматится дымок —
Сказ пойдет о красном древоделе
По лесам, на запад и восток.

1915

ИЗ ЦИКЛА «ИЗБЯНЫЕ ПЕСНИ»

Памяти матери

* * *

Четыре вдовицы к усопшей пришли...
(Крича, бороздили лазурь журавли,
Сентябрь-скопидом в котловни сундуки
С сынком-листодером ссыпал медяки).

Четыре вдовы в поминальных платках:
Та с гребнем, та с пеплом, с рядниной в руках;
Пришли, положили поклон до земли,
Опосле с ковригою печь обошли,
Чтоб печка-лебедка, бела и тепла,
Как дѣпрежь, сытовые хлебы пекла.

Посыпали пеплом на куричий хвост,
Чтоб немочь ушла, как мертвец, на погост,
Хрущатой рядниной покрыли скамью,
На одр положили родитель мою.

Как ель под пилою, вздохнула изба,
В углу зашептала тень гурьба,
В хлевушке замукал сохатый телок,
И вздулся, как парус, на грядке платок...
Дохнуло молчанье... Одни журавли,
Как витязь победу, трубили вдаль:

«Мы матери душу несем за моря,
Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы

От мис с киселем, словно кипень, белы.
Там Митрий Солунский, с Миколою Влас
Святых обряжают в камлот и атлас,
Креститель-Иван с енды расписной
Их поит живой норданской водой!..»

Зарделось оконце... Закат-золотарь
Шасть в избу незванный: принес-де стихарь —
Умершей обнову, за песни в бору,
За думы в рассветки, за сказ ввечеру,

А вынос блюсти я с собой приведу
Сутемки, зарянку и внучку-звезду,
Скупцу ж листодеру чрез мокреть и гать
Велю золотые ширинки постлать.



Шесток для кота — что амбар для попа,
К нему не заглохнет кошачья тропа:
Зола как перина — лежи, почивай,—
Присятся сметки, просяной каравай.

У матери-печи одно на уме:
Теплынь уберечь да всхрапнуть в полутьме;
Недаром в глухой, свечеревшей избе,
Как парусу в ведро, дремотно тебе.

Ой, вороны-сны, у невесты моей
Не выклевать вам беспотемных очей!
Летите к мурлыке, на теплый шесток,
Куда не заглянет прожорливый рок,

Где странники-годы почили золой,
И бесперечь хнычет горбун-домовой;
Ужели плакида, запечный жилец,
Почужал разлуку и сказки конец?

Кота ж лежебока будите скорей,
Чтоб был настороже у чутких дверей,
Мяукал бы злобно и хвост распушил,
На смерть трясогузую когти острил!



В селе Красный Волок пригожий народ:
Лебедушки девки, а парни как мед,
В моленных рубахах, в беленых портах,
С малиновой речью на крепких губах;

Старухи в долгушках, а деды — стога,
Их рассказы внукам милей пирога:
Вспушаты уснищи, и киноварь слов
Выводит узоры пестрей теремов.

Моления в селе — семискатный навес:
До горнего неба семь нижних небес,
Ступенчаты крыльца, что час, то ступень,
Всех двадцать четыре — заутренний день.

Рундук запорожний — пречудный Фавор,
Где плоть убелится, как пена озер.
Бревенчатый короб — утроба кита,
Где спасся Иона двуперстием креста.

Озерная схима и куколь лесов
Хоронят село от людских голосов.
По Пятничным зорям на хартии вод
Всевышние притчи читает народ:

«Сладчайшего гостя готовьтесь принять!
Грядет он в ночи, яко скимен и тать;
Будь парнем женатый, а парень как дед...»

Полощется в озере маковый свет,
В пеганые глубни уходит столбом
До сердца земного, где праотцов дом.

Там, в саванах бледных, соборы отцов
Ждут радужных чаек с родных берегов:
Летят они с вестью, судьбы бирючи,
Что поправа Бездна и Ада ключи.

1914—1916





ЗЕМЛЯ И ЖЕЛЕЗО

I

Есть горькая супесь, глухой чернозем,
Смиренная глина и щебень с песком,
Окунья земля, травяная медынь,
И пегая охра, жилища пустынь.

Меж тучных, глухих и скудельных земель
Есть мать-земля, бытия колыбель,
Ей пестун судьба, вертоградарь же — бог,
И в сумерках жизни к ней нету дорог.

Лишь дочь ее, Нива, в часы бороньбы
Как свиток являет глаголы судьбы,—
Читает их пахарь, с ним некто Другой,
Кто правит огнем и мужицкой душой.

Мы внуки земли и огню родичи,
Нам радостны зори и пламя свечи,
Язвит нас железо, одежд чернота,—
И в памяти нашей лишь радуг цвета.

В кручине по крыльям, пригожих лицом
Мы «соколом ясным» и «павой» зовем.
Узнайте же ныне: на кровле конек
Есть знак молчаливый, что путь наш далек.

Изба — колесница, колеса — углы,
Слетят серафимы из облачной мглы,
И Русь избяная — несметный обоз! —
Вспарит на распутье вызывающих гроз...

Сметутся народы, несякнут моря,
Но будет шелками распшта заря,—
То девушки наши, в поминок векам,
Расстелют ширинки по райским лугам.

2

У розвальней — норов, в телеге же — ум,
У карего много невыжанных дум.

Их ведает стойло да дед-дворовик,
Что кажет лишь твари мерцающий лик.

За скотьей вечерней в потемках хлева,
Плачевнее ветра овсчья молва.

Вздыхает каурый, как грешный мытарь:
«В лугах твоих буду ли, Отче и Царь?

Свершатся ль мои подъяремные сны,
И, взвхрен, напыюсь ли небесной волны?..»

За конскою думой кому уследить?
Она тишиною спрядается в нить.

Из нити же время плетет невода,
Чтоб выловить жребий, что светел всегда.

Прообраз всевышних крылатых коней —
Смиренный коняга, страж жизни моей.

С ним радостней труд, благодатней посев,
И смотрит ковчегом распахнутый хлев.

Взыграет прибой, и помчится ковчег,
Под парусом ясным, как тундровый снег.

Орлом огнезобым взметнется мой конь,
И сбудется дедов дремучая сонь!

3

Звук ангелу собрат, бесплотному лучу,
И недруг топору, потемкам и сычу.
В предсмертном «ы-ы-ы!» таится полужук,
Он каплей и цветком уловится, как стук.
Сорвется капля вниз, и вострепещет цвет,
Но трепет не глагол, и в срыве звука нет.

Потемки с топором и правнук ночи — сын
В обители лесов поднимут хищный клич,
Древесной кровли дух дойдет до божьих звезд,
И сирини в раю слетят с алмазных гнезд,
Но крик железа глух и тяжек, как валун,
Ему не свить гнезда в блаженной роще струн.

Над зыбкой, при свече, старуха запоет,
Дитя, как злак росу, впивает певчий мед,
Но древний рыбарь-сон, чтоб лову не скудеть,
В затоне тишины созвучьям ставит сеть.

В бору, где каждый сук — моленная свеча,
Где хвойный херувим льет чашу из луча,
Чтоб напоить того, кто голос уловил
Кормилнцы мирской и пестуны могил,
Там, отроку-цветку лобзание дая,
Я слышал, как заре откликнулась заря,
Как вспел петух громов и в вихре крыл возник,
Подобно рою звезд, многоочитый лик...

Миг выткал пелену, видение темня,
Но некая свирель томит с тех пор меня;
Я видел звука лик и музыку постиг,
Даря уста цветку, без ваших ржавых книг!

4

Где пахнет кумачом — там бабы посиделки,
Медынью и сурьмой — девичий городок...
Как пряжа, мерен день, и солнечные белки,
Покинув райский бор, уселись на шесток.

Беседная изба — подобие вселенной:
В ней шолом — небеса, полати — Млечный Путь,
Где кормчему уму, душе многоплачевной
Под веретинный клир усладно отдохнуть.

Неизречен дух и несказанна тайна
Двух чаш, двух свеч, шести очей и крыл!
Беседная изба на свете не случайна —
Она Судьбы лицо, преддверие могил.

Мужицкая душа, как кедр зелено-темный,
Причастье божьих рос неутолимо пьет:
О, радость — быть простым, носить кафтан
И тельник на груди, сладимей диких сот! поскоинный

Индийская земля, Египет, Палестина —
Как олово в сосуд, отлились в наши сны.
Мы братья облаков, и савана холстина —
Наш верный поводырь в обитель тишины.

1916



Где рай финифтяный и Сирни
Поет на ветке расписной,
Где Пушкин говором просвирен
Питает дух высокий свой,

Где Мей яровчатый, Никитин,
Велесов первенец Кольцов,
Туда бреду я, ликом скрытен,
Под ношей варварских стихов.

Когда сложу свою вязанку
Сосновых слов, медвежьих дум?
«К костру готовьтесь спозаранку», —
Гремел мой прадед Аввакум.

Сгореть в метельном Пустозерске
Или в чернилах утонуть?
Словопоклонник богомерзкий,
Не знаю я, где орлий путь.

Поет мне Сирни издалеча:
«Люби, и звезды над тобой
Заполыхают красным вечем,
Где сердце — колокол живой».

Набат сердечный чует Пушкин —
Предвечных сладостей поэт...
Как яблоневые макушки,
Благоухает звукоцвет.

Он в белой букве, в алой строчке,
В фазаньи-пестрой запятой.
Моя душа, как мох на кочке,
Пригрета пушкинской весной.

И под лучом кудряво-смуглым
Дремуча глубь торфяников.
В мозгу же, росчерком округлым,
Станицы тянутся стихов.

1916



Поэту Сергею Есенину

Оттого в глазах моих проснись,
Что я сын Великих Озер.
Точит сизую киноварь осень
На родной, беломорский простор.

На закате плещут тюлени,
Загляделся в озеро чум...
Златороги мои олени —
Табуны напевов и дум.

Потянуло душу, как гуся,
В голубой полуденный край;
Там Микола и Светлый Иисусе
Уготовят пшеничный рай!

Прихожу. Вижу избы — горы,
На водах — стальные киты...
Я запел про синие боры,
Про Сосновый Звон и скиты.

Мне ученые люди сказали:
«К чему святые слова?
Укоротьте поддевку до талии
И обузьте у ней рукава!»

Я заплакал Братскими Песнями,
Порешили: «В рифме не смел!»
Зажурчал я ручьями полесными
И Лесные Были пропел.

В поучение дали мне Игоря
Северяинна пудренный том.
Сердце поняло: заживо выгорят
Те, кто смерти задет крылом.

Лихолетья часы железные
Возвестили войны пожар,
И Мирские Думы болезные
Я принес отчизне, как дар.

Рассказал, как еловые куколи
Осеньют солдатскую мать,
И бумажные дятлы загукали:
«Не поэт он, а буквенный таты!

Русь Христа променяла на Платовых,
Рай мужицкий — ребяческий бред...»
Но с рязанских полей коловратовых
Вдруг забрезжил конопляный свет.

Ждали хама, глупца непотребного,
В спиижаке, с кулаками в арбуз,—
Даль повыслала отрока вербного
С голоском слаще девичьих бус.

Он поведал про сумерки карие,
Про стога, про отжиночный сноп;
Зашипели газеты: «Татария!»
И Есенин — поэт-юдофоб!

О, бездушное книжное мелево,
Ворон ты, я же тундровый гусь!
Осеняет Словесное дерево
Избяную, дремучую Русь!

Певчим цветом алмазно заиндевел
Надо мной древословный навес,
И страна моя, Белая Индия,
Преисполнена тайн и чудес!

Жизнь-Праматерь заутрени росные
Служит птицам и правды сынам;
Книги-трупы, сердца папиросные —
Ненадистный Творцу фимиам!

1917



Пушистые горностаевые зимы,
И осени глубокие, как схи́ма.
На полатах трезво уловимы
Звезд гармошки и полет серафима.

Он повадился телке недужной
Приносить на копыто пластырь —
Всей хлевушки поводырь и пастырь
В ризе непорочно-жемчужной.

Телка ж бурая, с добрым носом
И с молочным, младенческим взором...
Кружит врачеватель альбатросом
Над избой, над лысым косогором.

В теле буйство вешних перелесков:
Под ногтями птахи гнезда выют,
В алой пене от сердечных плесков
Осетры янтарные снуют.

И на пупе, как на гребне хаты,
Белый анст, словно в свитке пан.
На рубахе же оазисы-заплаты,
Где опалый финик и шафран.

Где араб в шатре чернотканом,
Русских звезд познав глубину,
Славят думой, говором гортанным,
Пестрядную, светлую страну.

1917

МОЛИТВА СОЛНЦУ

Солнышко-светик! Согрей мужика...
В сердце моем гробовая тоска.
Братья мои в непомерном бою
Грудь подставляют штыку да огню.
В белой избе только холод да труд,
Русские реки слезами текут!
Пятеро нас, пять чераленых щитов
Русь боронят от заморских врагов:
Петра, Ляксандра, Кудрявич Митяй,
Федя-Орленок, да я — Миколай.
Старший братан, как полесный медведь,
Мял, словно лыко, железо н медь;
Братец Ляксандр — бородища снопом —
Пахарь Господний, вскормленный гумиом.
Митя-Кудрявич, волосья как мед,
Ангелом стал у небесных ворот;
Рана кровавая точит лучи.
Сам же светлее церковной свечн.
Федюшка-цветик, осьмнадцать годков,
Сгиб на Карпатах от вражьих штыков.
Сказывал взводный: где парень убит,
Светлой слезинкой лампадка горит.
В волюсть бумага о смерти пришла;
Мать о ту пору куделю пряла,
Нитка порвалась... Куделя, как кровь...
Много на нашем погосте крестов! —
Новый под елью, как сторож, стоит,

Лаdanом ель над родимой кадит.
Петрова баба, что лебедь речной,
Косы в ладонь, сарафан расшитой,
Мужа кончину без слез приняла,
Только свечу пред божинцей зажгла.
Ночью осенней, под мелким дождем,
Страницей-нищей ушла с посошком...
Бают крещеные: «В дальнем скиту
Схимница есть, у святых на счету,
Поступь лебяжья, а схи́ма по бровь...»
Ой, велика ты, мужичья любви!
Солинышко-светик! Согрей мужика!
Русская песня, что Волга-река!
Катится в море, где пена да синь...
Песне моей не сказать ли: «Аминь»?
Русь не вместить в челове́чьи слова:
Где ты, небес громовая молва,
Гул океана и гомон тайги!..
Сердце свое, человек, береги!
Озеро-сердце, а Русь, как звезда,
В глубь его смотрит всегда!

1917





ПЕСНЬ СОЛНЦЕНОСЦА

Три огненных дуба на пупе земном,
От них мы три желудя-солнца возьмем:
Лазоревым — облачный хворост спалим,
Павлиньим — грядущего даль озарим,
А красное солнце — миллионам рук
Подыдем над миром печали и мук.
Плакающий кит взбороздит океан,
Звонарь пренеподный ударит в Монблан,
То колокол наш — непомерный язык,
Из рек бечеву свил архангелов лик.
На каменный зык отзовутся миры.
И демоны выйдут из адской норы,
В потир отольются металлов пласты,
Чтоб солнца вкусили народы-Христы.
О демоны-братья, отпейте и вы
Громовых сердец, поцелуйной молвы!
Мы — рать солнценосцев на пупе земном —
Воздвигнем столбашенный, пламенный дом:
Китай и Европа, и Север и Юг
Сойдутся в чертог хороводом подруг,
Чтоб Бездну с Зеннтом в одно сочетать.
Им бог — восприемник, Россия же — мать.
Из пупа вселенной три дуба растут:
Премудрость, Любовь и волхвующий Труд...
О, молот-ведун, чудотворец-верстак,
Вам ладан стиха, в сердце сорванный мак,
В ваш яростный ум, в многоструйный язык

Я пчелкою-рифмой, как в улей, проник,
Дышу восковиной, медью цветов,
Сжигающих Индий и Волжских лугов!..
Верстак — Назарет, наковальня — Немврод,
Их слил в песнозвучье родимый народ:
«Вставай, подымайся» и «Зелен мой сад» —
В кровавом окопе и в поле звучат..
«Вставай, подымайся», — старуха поет,
В потемках телега и петли ворот,
За ставнем береза и ветер в трубе
Гадают о вещах народной судьбе..

Три желудя-солица достались нам —
Засевный подарок взалкавшим полям:
Свобода и Равенство, Братства венец —
Живительный выгон для ярых сердец.
Тучнейте, отары голодных умов,
Прозрений телицы и кони стихов!
В лесах диких грив, звездных рук и вымях
Крылатые боги раскинут свой стан,
По струнным лугам потечет молоко,
И певчей калиткою стукнет Садко:
«Пустите Бояна — Рублевскую Русь,
Я тайной умоюсь, а песней утрюсь,
Почестиному пиру отвешу поклон,
Румянее яблонь и краше икон:

Здравствуешь, Волюшка-мать,
Божьей Земли благодать,
Белая Меря, Сибирь,
Ладоги хлябкая ширь!

Здравствуйте, Волхов-гусляр,
Степи Великих Бухар,
Синий моздокский туман.
Волга и Стенькин курган!

Чай стосковались по мне,
Красной поддонной весне,
Думали — злой водяник
Выщербил песенный лик?

Я же — в избе и в хлеву
Ткал золотую молву,
Сирии мне вести носил
С плах и бескрестных могил.

Рушайте ж лебедь-судьбу,
В зvon осластите губу,
Киева сполох-уста
Пусть воссияют, где Мста.

Чмок городов и племен
В лике моем воплощен,
Я — песноводный жених,
Русский яровчатый стих!»

1917

ЛЕНИН

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».

Мужицкая ныне земля,
И церковь — не наймит казенный,
Народный испод шевеля,
Несется глагол краснозвонный.

Нам красная молвь по уму:
В ней пламя, цветенье сафьяна,—
То Черной Неволи басму
Попрала стопа Иоанна.

Борис, златоордный мурза,
Трезвонит Иваном Великим,
А Лениным — вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам.

Есть в Смольном потемки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там инций колодовый гроб
С останками Руси великой.

«Куда схоронить мертвеца»,—
Толкует удалых ватага...
Поземкой пылит с Коиевца,
И плещется взморье-баклага.

Спросить бы у тучки, у звезд,
У зорь, что румянят ракиты...
Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.

Их ворон-судьба стережет
В глухих преисподних могилах...
О чем же толкует народ
В напевах татарско-унылых?

1918



Не хочу коммуны без лежанки,
Без хрустальной песежки углей!
В стихотворной тягостной вязанке
Думный хворост, буреломник дней.

Не свалить и в Красную Газету
Слов щепу, опилки запятых,
Ненавистен мудрому поэту
Подворотный, твякающий стих.

Лучше пуиш, чиновничья гитара,
Под луной уездная тоска.
Самоцвет и пестрядь Светлояра
Взбороздила шрифтная река.

Не поет малиновкой лучина,
И Садко не гуслист в ендове.
Не в тюрбанах гости из Берлина
Приплывут по пляске и молве.

Их дары — магнит и град колбасный,
В бутербродной банке Парсифаль,
Им навстречу, в ферязи атласной,
Выйдет Лебедь — русская печаль.

И атлас с варяжскою кольчугой
Обручится вновь, сольет уста...
За безмерною зырянскою вьюгой
Купина горящего куста.

То моя заветная лежанка,
Караванный аравийский шлях,—
Неспроста нубийка и славянка
Ворожат в олонецких стихах.

1918



Владимиру Кириллову

Мы — ржаные, толоконные,
Пестрядинные, запечные,
Вы — чугунные, бетонные,
Электрические, млечные.

Мы — огонь, вода и пажити,
Озимь, солища пеклеванные,
Вы же тани не расскажете
Про сады благоуханные.

Ваши песни — стоны молота,
В них созвучья — шлак и олово;
Жизни дерево надколото,
Не плоды на нем, а головы.

У подножья кости бранные,
Череп с кромешным хохотом;
Где же крылья ураганные,
Поеднок с мечным грохотом?

На сватыни пролетарские
Гнезда вить слетелась филлины;
Орды кнжные, татарские,
Шестернею не ослены.

Кнут и кивер аракчеевский,
Как в былом, на троне буквенном
Сон кольцовский, терем меевский
Утонули в море клюквенном.

Ваша кровь водой разбавлена
Из источника бумажного,
И змея не обезглавлена
Песней витязя отважного.

Мы — ржанные, толокониные,
Знаем Слово алатырное,
Чтобы крылья громобойные
Вас умчали во всемирное,

Там изба свирельным шоломом
Множит отзвуки павлиньиные...
Не глухим, бездушным оловом
Мир связать в снопы овининые.

Воск с медынью яблонною —
Адамант в словостроении,
И цвести над Русью новою
Будут гречневые гении.

1918

ЖЕЛЕЗО

Безголовые карлы в железе живут,
Заплетают тенета и савааны ткнут,
Пишут свиток тоски смертоносным пером,
Лист убийства за черным измены листом.
Шелест свитка и скрежет зубила-пера
Чуют Сон и Раздумье, Дремота-сестра...
Оттого в мире темень, глухая зима,
Что вселенские плечи болят от ярма,
От железной пяты безголовых владык,
Что на зори плетут власяничный башлык,
Плащаницу уныния, скуки покров,
Невод тусклых дождей и весну без цветов!

Громоносные духи в железе живут:
Мощь с Ударом, с Упругостью девственный Труд,
Непомерна их ласка и брачная ночь...
Человеческий род до объятий охоч,
И горячие перси влюбленных машин
Для возжаждавших стран словно влага долин:
Из магнитных ложесн огневой баобаб
Ловит звездных сорок краснолесьями лап.
И стрекошут сороки: «В плену мы, в плену...»
Допросить бы мотыгу и шахт глубину,
Где предсердие руд, у металла гортань,
Чтобы песня цвела, как в апреле герань,
Чтобы млечным огнем серебрилась строка,
Как в плотичные токи лесная река,
И суровый шахтер по излукам стихов
Наловил бы певучих гагар и бобров.

1919



Маяковскому грезится гудок над Зимним,
А мне журавлиный перелет и кот на лежанке.
Брат мой несчастный, будь гостеприимным:
За окном лесные сумерки, сонные зарюнки!

Тебе ненавистна моя рубаха,
Распутинские сапоги с набором,—
В них жаворонки и грусть монаха
О белых птицах над морским простором.

В каблуке в моем — терем Кашеев,
Соловей-разбойник поныне,—
Проедет ли Маркони, Менделеев,
Всеяк оставит свой мозг на тыне.

Всеякий станет песней в ночевке,
Под свист костра, над излучиной сивой;
Заблудиться в моей поддевке
«Изобразительным искусствам» не диво.

В ней двенадцать швов, как в году високосном,
Солиповороты, голубые пролетья,
На опушке по сафьяновым соснам
Прыгают дятлы и белки — столетья.

Иглокожим, головоногим претят смоль и черинка,
Тетеревиные токи в дремучих строчках.
Свете тихий от народного лика
Опочил на моих запятых и точках.

Простой как мычание, и облаком в штанах
казиниетовых

Не станет Россия — так вещает Изба.
От мереж осетровых и кетовых
Всплески рифм и стихов ворожба.

Песнотворцу ль радеть о кранах подъемных,
Прикармливать воронов — стоны молота?
Только в думах лоддонных, в сердечных домах
Выплавится жизни багряное золото.

1919



Сергею Есенину

В степи чумацкая зола —
Твой стих, гордынею остужен;
Из мыловарного котла
Тебе не выловить жемчужин.

И груз «Кобыльных кораблей» —
Обломки рифм, хромые стопы.
Не с Коловратовых полей
В твоём венке гелiotропы,—

Их поливал Марленгоф
Кофейной гущей с никотином...
От оклеветанных голгоф —
Тропа к нудным осням.

Скорбит рязанская земля,
Седея просом и гречихой,
Что, соловьиный сад трепля,
Парит есенинское лихо.

Оно как стая воронят
С нечистым граем, с жадным зобом,
И опадает песин сад
Над материнским строгим гробом.

В гробу пречистые персты,
Лапотцы с посохом железным,—
Имажинистские цветы
Претят очам многоболезным.

Словесный брат, виемли, виемли
Стихам — берестяным оленям:
Олонецкие журавли
Христосуются с «Голубенем».

«Трерядница» и «Песнослов» —
Садко с зеленой водяницей,
Не счесть певучих жемчугов
На нашем детище — странице.

Супруги мы... В живых веках
Заколосится наше семя,
И вспомнит нас молодое племя
На песнотворческих пирах.

1920



Я знаю, родятся песни —
Телки у пегих лосих,—
И не будут звезды чудесней,
Чем Россия и вятский стих!

Города Изюмец, Чернигов
В словозвучье сладость таят...
Пусть в стихе запыляет Выгов,
Расцветет хороводный сад.

По заставкам Волга, Онега
С парусами, с дымом костров!..
За морями стучит телега,
Беспощадных мча седоков.

Черный уголь, чудесный радий,
Пар-возища, гулеха-сталь
Едут к нам, чтобы в Китеж-граде
Оборвать изюм и миндаль.

Чтобы радужного Рублева
Усадить за хитрый букварь..
На столетье замкнется снова
С драгоценной поклажей ларь.

В девяносто девятое лето
Заскрипит заклятый замок,
И взбурлят рекой самоцветы
Ослепительных вещей строк.

Захлестнет певучая пена
Холмогорье и Целебей,
Решетом наловится Вена
Серебряных слов-карасей!

Я взгляну могильной березкой
На безбрежность песенных нив,
Благовонной зеленой слезкой
Безымянный прах окропив.

1920

'



Стариком, в лохмотья одетым,
Притащусь к домово́й ограде...
Я был когда-то поэтом,
Подайте на хлеб Христа ради!

Я скоротал все проселки,
Придорожные пни и камни...
У горничной в плетеной наколке
Боязливо спрошу: «Куда мне?»

В углу шарахнутся трости
От моей обветренной палки,
И хихикнут на деда-гостя
С дорогой картины русалки.

За стеною Кто и Не знаю
Закинут невод в Чужое...
И вернусь я к нищему раю,
Где Бог и Древо печное.

Под смоковницей солодовой
Умолкну, как Русь, навеки...
В мое бездонное слово
Канут моря и реки.

Домовину оплатит баба.
Назовет кормильцем и ладон...
В листопад рябины и граба
Уныла дверь за оградой.

За дверью пустые сени.
Где бродит призрак костлявый.
Хозяин Сергей Есенин
Грустит под шарманку славы.

.922

НЕРУШИМАЯ СТЕНА

Рогатых хозяев жизни
Хрипом ночных ветров
Приказано элаторизней
Одеть в жемчуга стихов.

Ну что же? — Не будет голым
Тот, кого проклял бог,
И ведьма с мызглым подолом —
Софией Палеолог!

Кармином, не мусикией
Подвѣден у ведьмы рот...
Ужель погас над Россией
Сириновый полет?!

И гнездо в безносой пивнушке
Златорогий свил Китоврас!..
Не в чулке ли нянином Пушкин
Обрел певучий Кавказ?

И не Веткой ли Палестины
Деревенские дни цвели,
Когда ткал я пестрей рядины
Мои думы и сны земли,

Когда пела за прялкой мама
Про лопарский олений рай.
И сверчком с избяною Камой
Аукался Парагвай?

Ах, и лермонтовская ветка
Не пустила в душу корней!..
Пусть же зябликом напоследках
Звонит самопрялка дней.

Может выпрядется родное —
Звон успеиский, бебрия рукав!..
Не дожди — кобылы удои
Истекли в бурдюки отав.

То пресветлому князю Батый
Преподнес поганый кумыс,—
Полоианкой тверские хаты
Опустили ресницы вниз.

И рыдая о милых близях,
В заревой конопель и шелк
Душу Рूसи на крыльях сизых
Журавлиный возносит полк.

Вознесенье Матери правя,
Мы за плугом и за стихом
Лик Оранты, как образ славный,
Нерушимой Стеной зовем.

1921—1922



Когда осыпаются липы
В раскосый и рыжий закат,
И кличет хозяйка «цып, цыпы»
Осенних зобастых курят,
На грядках лысато и пусто,
Вдовеет в полях борозда,
Лишь пузом упругим капуста,
Как баба обновкой, горда.
Ненастна воронья губернья.
Ущербные листья — гроши.
Тогда предстают непомерней
Глухие проселки души.
Мерещится странником голос,
Под выюгой, без верной клюки.
И сердце в слезах расколосось
Дуплистой ветлой у реки.
Ненастье и косит, и губит
На кляче ребрастой верхом,
И в дедовском кондовом срубе
Беда покумилась с котом.
Кошачье «мяу» в половицах,
Простужена старая печь.
В былое ли внуку укрыться
Иль в новое мышкой утечь?!
Там лета грозóвые кони,
Тучны золотые овсы...
Согреть бы, как душу, ладони
Пожаром девичьей косы.

1932



*Моей чародейной
современнице артистке
Надежде Андреевне Обуховой*

Баюкало тебя райское древо
Птицей самоцветною — девой,
Ублажала ты песней царя Давида,
Он же гуслими вторил взрыдам.
Таково пресладостно пелось в роще,
Где ручей поцелуями ропщет,
Винограды да яхонты-дули,
И проснулась ты в русском иколе:
«Что за край, лесная округа?»
Отвечают: «Кострома да Калуга!»
Протерла ты глазыньки рукавом
кисейным,
Видишь: яблоня в плату златовеином!
Поплакала с сестрицей, пожурилась
Да и пошла белицей на клирос.
Таяла, как свеченька, полыхая веждой,
И прослыла в людях Обуховой Надеждой.
А мы, холун, зенки пялим,
Не видим, что Сири в бархатной зале,
Что сердце райское под белым тюлем
Обожжено грозovým иколем,
Лесными пожарами, голодом да мором,
Кручинится по синим небесным озерам —
То Любашей в «Царской невесте»,
То Марфой в огненном благовестии.
А мы, холун, зенки пялим,
Не видим крыл в заревом опале,
Не слышим гуслей царя Давида
За дымом да слезами горькой панихиды.
Пропой нам, сестрица, кого погребаем

В Костромском да Рязанском крае?
Ответствует нам краса Любаша:
Это русская долюшка наша,
Голова на коле,
Косынька в петле,
Перстенец на
Хвалынском дне.
Аминь.

1932



Павлу Васильеву

Я человек, рожденный не в боях,
А в горенке с муравленою печкой,
Что изразцовой пестрою овечкой
Пасется в дреме, супрядках и снах
И блеет сказкою о лунных берегах,
Где невозвратнее, чем в пуще хвойный прах,
Затеряно Светланно колечко!
Вот почему янчком в теплом пухе
Баюкая ребячий аромат,
Ныряя памятью, как ласточки в закат,
В печную глубину крапюхи,
Не вернись желтокожей голодухе,
Что кровью вытечет сердечный виноград!
Ведь сердце — сад нехоженный, немятый!
Пускай в калитку год пятидесятый
Постукивает нудною клюкой,—
Садовнику за хмурой бородой
Смеется мальчик в ластовках лопарских,
В сапожках выгнутых бухарских,
С бытиной-нянюшкой на лавке:
Она была у костоправки
И годы выпрадает пряжей...
Навьючен жизненной поклажей,
Я все нищу кольцо Светланы,
Рожденный в сумерках сверчковых,
Гляжу на буйственных и новых,
Как тальник смотрит на поляны,

Где снег предвешний, ноздреватый
Метут косицами туманы,—
Побеги будут терпко рьяны,
Но тальник чует бег сохатый
И выстрел... В звезды ли иль в темя?..
Кольцо Светланы точит время,
Но есть ребячий городок
Из пуха, пряжи и созвучий,
Куда не входит зверь рыкучий
Пожрать волшебный колобок.
И кто рожден в громах, как тучи,
Тем не уловится текучий,
Как сон, запечный ручеек!
Я пил из люти жемчужовой
Пригоршней, сапожком бухарским,
И вот судьбою пролетарским
Казним за нежность, тайну, слово,
За морок горейки в глазах,—
Орланом — нволга в кустах!
Не сдамся! Мне жасмин ограда
И розы алая лампада,
Пожар нарцисса, львиный зев! —
Пусть дубяком стальной посея
Взойдет на милом пепелище —
Лопарь забрел по голенище
В цимбалы, в лукоморье скрипки
Проселком от колдуньи-зыбки
Чрез горенку и дебри-няни,
Где заплутали спицы-лаи,
Бодаясь с нитью ярче сказки!
Уже Есенина побаски
Измерены, как синь Оки,
Чья глубина по каблуки.
Лишь в пасме серебра чешуйки..
Но кто там в росомашьей чуйке,
В закатном лисьем малахае,
Ковром зари, монистом бая,

Прикрыл кудрявого внучонка? —
Иртыш пелегает тигренка —
Васильева в полынном шелке...
Ах, чур меня! Вода по холки!
Уже о печень плещет сом —
Скирда кувшинок — песен том! —
Далече — самоцветны глубины...
Я — человек, рожденный в срубе,
И гостю с яхонтом на губе,
С алмазами, что давят мочку,
Повышлю в сарафане дочку,—
Ее зовут Поклон до земли,—
От Колывани, снежной Кеми,
От ластовок — шитья лопарки,
И печи — изразцовой ярки,—
Ведунья падка до купав,
Иртышских и шаманских трав!
Авось, испимши и поемши,
Она ершонком в наши верши
Загонит перстенок Светланы!
И это будет раным рано,
Без слов дырявых человеческих,
Когда на розовых поречьях
Плывет звезда вдоль рыбьих троп,
А мне доской придавят лоб,
Как повелось изначально,
Чтоб песня в дереве звучала!

1933



По жизни радуйтесь со мной,
Сестра буренка, друг гнедой,
Что стойло радугой цветет,
В подойнике лучистый мед,
Кто молод, любит кипень сот,
Пчелиный в липах хоровод!
Любя, порадуйся со мной,
Пчела со взяткой золотой.
Ты сладкой пасеке верна,
Я ж — песне голубее льна,
Когда цветет дремотно он
В просонки синие влюблен!
Со мною радость разделите,
Баран, что дарит прялке нити
Для теплых ласковых чулок,
Глашатай сумерек — Волчок
И рябка — тетушка-ворчунья,
С котягою, — шубейка кунья.
Усы же гоголиной масти.
Ворона — спутница иенастья, —
Не каркай голодно, гумно
Зареет, словно в рай окно,
Там полиогрудые суслоны
Ждут молотьбы рогов и звона:
Кто слышит музыку гумна,
Тот вечно молод, как весна!
Как сизый аир над ручьем,

Порадуйся, мой старый дом,
И улыбнись скрипучей ставней.
Мы заживем теперь исправней,
Тебе за нищие години
Я шапку почию тесной
И брови подведу смолой.
Пусть тополь пляшет над тобой
Гуськом, в зеленую присядку!
Порадуйся со мной и кадка,
Моя дубовая вдова,
Что без соленья не жива,
Теперь же, богатея салом,
Будь женкой мне и перевалом
В румяно-смуглые долины,
Где не живут с клюкой морщины,
И старость, словно дуб осенний,
Пьет чашу снов и превращений,
Вся солнце рдяное, густое,
Чтоб закатиться в молодое,
Быть может, в песенки твои,
Где гнезда свили соловьи,
В янтарный пальчик с перстеньком.
Взгляни, смеется старый дом,
Ослабил окна до ушей
И жметя к тополю нежней,
Как я, без мала в пятьдесят,
К твоей щеке, мой смуглый сад,
Мой улей с солнечною брагой!
Не потому ли над бумагой
Звенит издевкой карандаш,
Что бледность юности не пара,
Что у зимы не хватит чаш
Залить сердечные пожары?!
Уймись, поджарый надоеда,—
Не остудят метели деда,
Лишь стойло б клевером цвело,
У рябки лоснилось крыло

И конь бы радовался сбруе,
Как песне непомерный Клюев!
Он жив, олонецкий ведун,
Весь от снегов и выюжных струн
Скуластой тундровой луной
Глядится в яхонт заревой!

1932

КЛЕВЕТНИКАМ ИСКУССТВА

Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет певучему коню,
Узда алмазная, из золота копыта,
Попона же созвучьями расшита,
Вы не дали и пригоршни овса
И не пускали в луг, где пьяная роса
Свежила б лебедю надломленные крылья!
Ни волчья пасть, ни дыба, ни копылья
Не знали пытки вероломией,—
Пегасу русскому в каменоломие
Нетопыри вплетались в гриву
И пили кровь, как суховей ииву,
Чтоб не цвела она золототканью
Утехой брачною республике желаний.
Чтобы гумно, где Пушкин и Кольцов
С Есениным в венке из васильков,
Бодягой поросло, унылым плауном,
В разлуке с песногрым скакуном,
И с молотью стиха свежее борозды
И непомернее смарагдовой звезды,
Что смотрит в озеро, как чаша, колдовское,
Рождая струнный плеск и вещей сказок рон!

Но у ретивого копыта
Недаром золотом облиты,
Он выпил сон каменоломный
И ржет на Каме, под Коломной

И на балтийских берегах!..
Овсянки, явственны ль в стихах
Вам соловьиные раскаты,
И пал ли Клюев бородатый,
Как дуб, перунами сраженный,
С дуплом, где Сирин огневейный
Клад стережет — бериллы, яхонт?..
И от тверских дубленых пахот
С антиютиком лесным под мышкой
Клычков размыкал ли излишки
Своих стихов — словых почек
И выплакал ли зори-очи
До мертвых костяных прорех
На грай вороний, черный смех?!
Ахматова — жасминный куст,
Обожженный асфальтом серым,
Тропу утратила ль к пещерам,
Где Данте шел и воздух густ
И нимфа лени прядет хрустальный?
Средь русских женщины Аниой дальней
Она как облачко сквозит
Вечерней проседью раки!
Полыни сноп, степное юдо,
Полуказак, полукентавр,
В чьей песне бранный гром литавр,
Багдадский шелк и перлы грудой,
Васильев, — омой с Иртыша.
Он выбрал шуку и ерша
Себе в друзья, — на песню право,
Чтоб цвести в поэзии купавой, —
Не с вами правнук Ермака!
На стук степного батожка,
На ржанье сосунка-кентавра
Я осетром разниул жабры,
Чтоб гость в моей подводной келье
Испил раскольникового зелья,
В легенде став единорогом,

И по родным полынным логам
Жил гривы заревом, отгулами копыт!
Так нагадал осетр, и вспенил перлы кит!

Я гневаюсь на вас, гиусавые вороны,
Что ин свирель ручья, ни сосен перезвоны,
Ни молодость в кудрях, как речка в купуре,
Вас не баюкают в багряном октябре.
Когда клеиновый лист лохмотьями огня
Летит с лесистых скал, кимвалами звеня,
И ветер-конь в дождливом чепраке
Взлетает на утес, вздыбится налегке,
Под молнии зурну копытом выбить пламя
И вновь инзринуться, чтобы клетать орлами
Иль ржать над пропастью потоком пешиогривым.
Я отвращаюсь вас, что вы не так красны!
Что знамя гордое, где плещется заря,
От песен застите крылом иетопыря,
Крапивой полуслов, бурьяном междометий,
Не чуя пиршества столетий,
Как бороды моей певучую грозу, —
Базальтовый обвал — художника слезу
О лилии с полей Иерихона!
Я содрогаюсь вас, убогие вороны,
Что серы вы, в стихе не лирохвосты,
Бумажные размножили погосты
И вывелн ежей, улиток, саранчу!..
За будин львом на вас рычу
И за мои нежданные седины
Отмщаю тягой лебединой! —
Все на восток, в шафран и медь,
В кораллы розы нумидийской,
Чтоб под ракиitou rossийской
Коринфской арфой отзвенеть
И от Печенеги до Бийска,
Завьюжит песенную цветь,
Где конь пасется диковинный,

Питаясь ягодой наливной,
Травой-улыбкой, приворотом,
Что по фантазии болотам
И на сердечном глыбком дне
Звенят, как пчелы по весне!
Меж трав волшебных Анатолий,—
Мой песноглаз, судьба-цветок,
Ему ковер индийских строк,
Рязанский лыковый уток,
С арабским бисером — до боли!
Чу! Ржет неистовый скакун
Прибоем слов о гребень дюн
Победно-трубных, как органы,
Где юность празднуют титаны!

1932



Кому бы сказку рассказать,
Как лось матерый жил в подвале,
Ведь прописным ославят вралей.
Что есть в Москве тайга и гать,
Где кедров осыпают шишки —
Смолистые лешачьи пышки!
Заря полощет рушники
В дремотной заводн строки,
Что есть стихи — лосиный мык,
Гусиный перелетный крик,
Чернильница — раздолье совам,
Страницы с запахом ольховым,
И все, как сказка на Гранином?

В пути житейском необъятном
Я лось, забредший через гать,
В подвал горбатый умирать.
Как тяжело ресницам хвойным,
Звериным легким — выюгам знойным
Дышать мокрицами и прелью!
Уснуть бы под вотяцкой слью,
Сутроб пушистый — одеяло,
Чтобы не чуют над подвалом
Глухих вестей — ворон носатых,
Что не купаются закаты
В родимой Оби стадом лис,
И на Печоре вечер сиз,

Но берега пронзили сван,
Калина не венчает в мае
Березку с розовым купалой,
По тундре дыминой и проталой,
Не серебрится лосий след,
Что пали дебри, брынский дед,
По лапти пилами обрезан,
И от свирепого железа
В метель горящих чернолесий
Бегут медвежьи, рысьи веси,
И град из рудых глухарей,
Кряквы, стрельчатых дупелей
Лесные кости кровью мочит!

Кому же сивыйклады прочит,
Напевом золотит копыта,
Когда черемуха убита —
Сестра душистая, чьи пальцы
Брыкастым и коломым мальцем
Его пойли зельем мая?!
От лесоруба убегая,
Березка в горностаиной шубке
Ломает руки на порубке,
Одна меж омертвелых пней...

И я один. В рогожу дней
Вплетен как лыко волчьим когтем,
Хочу, чтобы сосновым дегтем,
Париной сохатою зимовкой,
А не Есенина веревкой,
Пахнуло на твои ресницы
С подвала, где клюют синицы
Построчный золотой горох,
И тундровый соловый мох
Вплетает время в лосью челку!

На рождестве закличу елку
В последки погостить в подвал,
И за любовь лесной бокал
Осушим мы, как хлябь болотца.
Колдунья будет млеть, колоться,
Пылать от ревности зеленой,
А я поникну над затоном —
Твоим письмом, где глубь и тучки,
Поплакать в хвойные колючки
Под хриплый рог лихой погони
Охотника с косою зубастой.
И в этот вечер звезды часто
Осиным выводком в иколе,
Заволокут небесный улей,
Где няня-ель в рукав соболий
Запрячет сок земной и боли.

1932







*Моему другу
Анатолию Яру*

Продрогли липы до костей,
До лык, до сердца лубяного
И в снежных саванах готовы
Уснуть навек, не шля вестей.
В круговороте зимних дней,
Косматых, волчьих, лязгозубых,
Деревья не в зеленых шубах,
А в продухах, сквозистых срубях
Из снов и морока ветвей.
Продрогли липы до костей,
Стучатся в ставни костылями:
«Нас приюти и обогрей
Л-жанкой, сказкою, стихами!»
Войдите, снежные друзья!
В моей лежанке сердце рдеет
Черемухой и смолью мреет,
И журавлиной тягой вест
На одинокого меня.
Подснежникам у ручья,
Погрейтесь в пламени сердечном,
Пока горбун — жилец запечный —
Не погасил его навечно!
Войдите!.. Ах!.. Звездой пурговой
Сияет воротник бобровый
И карий всполох глаз перловых.
Ты опоздал, метельный друг,
В оковах льда и в лапах пург

Продрогла грудь, замглился дух!
Вот сердце, где тебе венок
Сплетала нежность-пастушок,
Черемуха и журавли
Клад наговорный стерегли,
Стихов алмазы, дружбы бисер,
Чтоб росамахи, злые рыси
Любимых глаз — певучих чаш —
Не выпили в зверный раж,
И рожки — от зари лоскут —
Не унесли в глухой закут,
Где волк-предательство живет.
Оно горит, как ярый мед,
Пчелиным, грозovým огнем!..
Ты опоздал седым бобром,
Серебряным крылом метели
Пахнуть в оконце бедной кельи,
Где оторопь и свист печной
Кружились стайей надо мной,
И за стеной старик-сутроб
Сколачивал глубокий гроб.
Мои рыдания, пальцев хруст
Подслушал жимолости куст.
Он, содрогаясь о поэте,
Облился кровью на рассвете.
А ты?! В отмищенье посмотри,
Как тлеет, горестней зари,
Ущербной, в пазухе словой,
Былое сердце, песня, слово,
И угли — души поцелуев!..
Золой расписываюсь: Клюев,
Я мертвецом иду в мороз,
Где преданность — побитый пес
В пургу полуночную воет.
Под солнцем жизни были двое,
Лосенок и лесной ручей.
Продрогли липы до костей

И в дверь стучатся костылями:
«Нас приюти и обогрей
Лежанкой, сказкою, стихами!»
Войдите, бледные друзья,
Декабрьским льдом согреть меня!

1932



Есть две страны: одна — Больница,
Другая — Кладбище, меж них
Печальных сосеи вереница,
Угрюмых пихт и верб седых!

Блуждая пасмурной опушкой,
Я обронил свою клюку
И заунывною кукушкой
Стучусь в окно к гробовщику:

«Ку-ку! Откройте двери, люди!» —
«Будь проклят полуночный пес!
Куда ты в глиняном сосуде
Несешь зарю апрельских роз?!

Весна погибла. В космы сосеи
Вплетает вьюга седину...»
Но, слыша скрежет ткацких кросен,
Тянусь к зловещему окну.

И вижу: тетушка Могла
Ткет желтый саван, и челнок
Мелькает птицей чернокрылой,
Рождая ткань, как мерность строк.

В вершинах пляска ветродуев,
Под хрип волчиценой трубы
Читаю нити: «Н. А. Клюев —
Певец Олонецкой избы!»

Я умер! Господи, ужели?!
Но где же койка, добрый врач?
И слышу: «В розовом апреле
Оборван твой предсмертный плач!

Вот почему в кувшине розы
И сам ты — мальчик в синем льне!..
Скрипят житейские обозы
В далекой брениной стороне.

К ним нет возвратного проселка
Там мрак, изгнание, Нарым.
Не бойся савана и волка,—
За ними с лютой Серафим!»

«Приди, дитя мое, приди». —
Запела лютия неземная,
И сердце птичкой из груди
Перепорхнуло в куши рая.

И первой песенкой моей,
Где, брачной чашею лелея,
Была: люблю тебя, Расея,
Страна грачных озимей!

И ангел вторил: «Буди, буди!
Благословен родной овсень.
Его, как розыны в сосуде,
Блюдет Христос на Оный День!»

1937

РАЗРУХА

I

ПЕСНЯ ГАМАЮНА

К нам вести горькие пришли,
Что зыбь Арала в мертвой тине,
Что редки ансты на Украинне,
Моздокские не звонки ковыли,
И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули!
Нам тучи вести занесли,
Что Волга сняя мелеет,
И жгут по Керженцу злоден
Зеленохвойные кремли,
Что нивы суздальские, тлея,
Родят лишайник да комли!
Нас окликают журавли
Прилетной тягою в последки.
И сгибли зябликов наседки
От колтуна и жадной тли,
Лишь сыроежкам многолетки
Хрипят косматые шмели!
К нам вести черные пришли,
Что больше нет родной земли,
Как нет черемух в октябре,
Когда потемки на дворе
Считают сердце колуном,

Чтобы согреть продрогший дом,
Но, не послушны колуну,
Поленья воют на луну.
И больно сердцу замирать,
А в доме друг, седая мать...
Ах, страшно песню распинаты!
Нам вести душу обожгли,
Что больше нет родной земли,
Что зыбь Арала в мертвой тине,
Замолк Грицько на Украине,
И Север — лебедь ледяной —
Истек бездомною волной,
Оповещая корабли,
Что больше нет родной земли!

II

От Лаче-озера до Выга
Бродяжил я тропой опасной,
В прогалах брезжил саван красный,
Кочевья леших и чертей.
И как на пытке от плетей,
Стонали сосны: «Горе! Горе!»
Рябины — дочери нагорий —
В крови до пояса... Я брел,
Как лось, изранен и комол,
Но, смерти показав копыто.
Вот чайками, как плат, расшито
Буланым пухом Заонежье
С горою вещью Медвежьей,
Данилово, где неофиту
Андрей и Симеон, как сыту,
Сварили на премноги леты
Необоримые «Ответы».
О книга — странничья кнса,
Где синодальная лиса
В грызне с бобринхою подонной,—

Тебя прочтут во время оно,
Как братья, Рим с Александрией,
Бомбей и суетный Париж!
Над пригвождению Россией
Ты сельской ласточкой журчишь,
И пестун заводи, камыш,
Глядишься вглубь — живые очи,—
Они, как матушка, пророчат
Судьбину, не чумной обоз,
А студенец в тени берез
С чудотворящим почерпальцем!..
На красный саван мажет смальцем
Тропу к истерзанным озерам,—
В их муть и раны с косягора
Забросил я ресниц мережи
И выловил под ветер свежий
Костлявого, как смерть, сига.
От темени до сапога
(Весь изъязвленный) пескарями
Вскипал он гноем, злыми вшами,
Но губы теплили молитву...
Как плахой, поражен ловитвой,
Я пролил вопли к жертве ада:
«Отколь родной? Водичи надо ль?»
И дрогнули прорехи глаз:
«Я ж украинец Опанас...
Добей Зозулю, чоловіче!..»
И видел я: затеплил свечи
Плакучий вереск по суторам,
И ангелы, златя убором
Лохмотья елей, ржавь коряжин,
В кошицу из лазурной пряжи
Слагали, как фиалки, души.
Их было тысячи на суше
И гатями в болотной води!..
О господи, кому угоден
Моих ресниц улов зловещий?

А Выго сукровицей плещет
О пленный берег, где медведь
В недавнем милом ладил сеть,
Чтобы словить луну на ужин.
Данилово — котел жемчужин,
Дамасских перлов, слезных смазней,
От поругания и казни
Укрылося под зыбкой схимой,—
То Китеж иовый и незримый,
То Беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров да тетка Фекла.
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей
И слезы скрыла от людей,
От глаз чужих в глухие топи.
В немереном горячем скопе
От тачки, заступа и горстки
Они расплавом беломорским
В шлюзах и дамбах дысят воды.
Их пересекают пароходы
От Повенца до Рыбьей Соли,—
То памятник великой боли,
Метла небесная за грех,
Тому, кто, выпив сладкий мех
С напитком дедовским стоялым,
Не восхотел в бору опалом,
В напетой, кондовой избе
Баюкать солнце по судьбе,
По доле и по крестной страже...
Россия! Лучше б в курной саже,
С тресковым пузырем в прорубе,
Но в хвойной непроглядной шубе,
Бортняжный мед в кудесной речи
И блинный хоровод у печи,
По Азини же блин — чурек,
Чтоб насыщался человек

Свирелью, родиной, овниом
И звездным выгоном лосниым, —
У звезд рога в тяжелом злате, —
Чем крови шлюз и вошью гати
От Арарата до Поморья.
Но лен цветет, и конь Егорья
Меж туч сквозит голубизной
И веще ржет... Чу! Волчий вой!
Я брел проклятою тропой
От Дона мертвого до Лаче.

III

Есть демоны чумы, проказы и холеры,
Они одеты в смрад и в саваны из серы.
Чума с кошницей крыс, проказа со скребницей,
Чтоб утомить колтун палящей огневницей,
Холера же с зурной, где судороги жил,
Чтоб трупы каркали и выли из могил.
Гангрена, вереда и повар — золотуха,
Чей страшен едкий суп и терпка варсиуха
С отрыжкой камфары, гвоздичным ароматом
Для гостя волдыря с ползучей цепкой ватой.
Есть сифилис — ветла с разнудым дуплом
Над желчи омутом, где плещет осетром
Безносый водяник, утопленников пестун.
Год восемнадцатый на родну-невесту,
На брачный горностай, сидонские опалы
Низринул ливень язв и сукровиц обвалы,
Чтоб дьявол-лесоруб повыщербил топор
О дебри из костей и о могильный бор,
Не считанный никем, непроходимый.
Рыдает Новгород, где тучкою златимой
Грек Феофан свивает пасмы фресок
С церковных крыл — поэту мерзок
Суд палача и черин многоротой.
Владимира червонные ворота

Замкнул навеки каменный архангел,
Чтоб стадо гор блюсти и водопой на Ганге,
Ах, для славянского ль шелома и коня?!
Коломна светлая, сестру-Рязань обняв,
В заплаканный Оке босые ноги мочит,
Закат волос в крови и выколоты очи,
Им нет поводыря, родного крова нет!
Касимов с Муромом, где гордый минарет
Затмил сияньем крест, вопят в падучей муке
И к Волге-матери протягивают руки.
Но, косы разметав и груди-Жигули,
Под саваном песков, что бесы иамели,
Уснула русских рек колдующая пряха.
Ей вести черные, скакун из Карабаха,
Ржет ветер, что Иртыш, великий Енисей,
Стучатся в океан, как инший у дверей:
«Впусти нас, дедушка, напой и накорми,
Мы пасмурины от бед, изранены плетями,
И с плеч береговых посяты соболя!»
Как в стужу водопад, плачь, русская земля,
С горячим льдом в пустых глазницах,
Где утро — сизая орлица —
Яйцо сносило — солнце жизни,
Чтоб ландыши цвели в отчизне,
И лебедь приплывал к ступеням.
Кошница яблок и сирени,
Где встарь по соловьям гадали, —
Чернигов с Курском! Бык из стали
Вас забодал в чуму и в оспу,
И не сиренью, кисти в роспуск,
А лунным черепом в окно
Глядится ночь давным-давно.
Плачь, русская земля, потопом —
Вот Киев, по усладным тропам
К нему не тянут богомольцы,
Чтобы в печерские оконца
Взглянуть на песноцветный рай,

Увы, жемчужный каравай
Похитил бес с хвостом коровьим,
Чтобы похлебкою из крови
Царыградские удобрить зерна!
Се Ярославль — петух узорный,
Чей жар — атлас, кумач — перо
Не сложит в короб на добро
Кудрявый офень... Сгибиул кочет,
Хрустальный рог не трубит к ночи,
Зарю Х(ри)ста пожрал бетон,
Умолк сорокоустый звон,
Он, стерлядь, в волжские пески
Запрятался за плавники!
Вы умерли, святые грады,
Без фимиама и лампы
До нестареющих пролётный.
Плачь, русская земля, на свете
Злосчастней нет твоих сынов,
И алмазтовый засов
У врат лечебницы небесной
Для них задвинут в срок безвестный.
Вот город славы и судьбы,
Где вечный праздник бороны
Крестами пашен бирюзовых,
Небесных нив и трав шелковых,
Где князя Даниила дуб
Орлу двуобразному люб,—
Ему от Золотого Рога
В Москву указана дорога,
Чтобы на дебренской земле,
Когда подснежники пчеле
Готовят чаши благовоний,
Заржали бронзовые кони
Весласнаана, Константина.
Скрипит иудина осина
И плещет вороном зобатым,
Доволен лакомством богатым,

О ржавый череп чистя нос,
Он трóбит в темь: колхоз, колхоз!
И подвязав воловий хвост,
На верезг мерзостной свирели
Повылез черт из адской щели —
Он весь мозоль, парха и гной,
В багровом саване, змеей
По смрадным бедрам опоясан...
Не для некрасовского Власа
Роятся в притче эфнопы —
Под черной зарослью есть тропы,
Бетонным связаны узлом —
Там сатаны заезжий дом.
Когда в кибитке ураганной
Несется он, от крови пьяный,
По первопутку бед, сарыней,
И над кремлевскою святыней,
Дрожа успенского креста,
К жилью зловещего кота
Клубит мятельную кибитку,—
Но в боль берестяному свитку
Перо, омокнутое в лаву,
Я погружу его в дубраву,
Чтоб листопадом в лог кукушнй
Стучались в стих убитых души...
Заезжий двор — бетонный череп,
Там бродит ужас, как в пещере,
Где ягуар прядет зрачками
И как плоты на хмурой Каме,
Храпя самоубийц тела,
Плывут до адского жерла —
Рекой воздушною... И ты
Закован в мертвые плоты,
Злодей, чья флейта — позвоночник,
Булыжник уличный — подстрочник.
Стихи мостить «в мотюх и в доску»,
Чтобы купальскую березку

Не кликал Ладо в хоровод,
И песню позабыл народ.
Как молодость, как цвет калины...
Под скрип иудинной осины
Сидит на' гниище Москва,
Неутешимая вдова,
Скобля осколком по коростам,
И многопестры Алконостом
Иван Великий смотрит в были,
Сверкая златною слезой.
Но кто целящей головней
Спалит бетонные отеки:
Порфирный Брама на востоке
И Рим, чем строг железный крест?
Нет русских городов-невест
В запястьях и рублях мидийских.

<1934>

*Младая память моя железом погибает,
и тонкое тело мое увядает.*

Плач Василька,
князя Ростовского

*Мы свое отбояли до срока —
Журавли, застигнутые вьюгой.
Нам в отлет на родине далекой
Снежный бор звенит своей колыбай.*

Помяни, чертушко, Есенина
Кутьей из углей до омылков банных!
А в моей квашне пьяно вспенена
Опара для свадеб да игрищ багряных.

А у меня изба новая —
Полотн с подзором, божница неугасимая.
Намел из подлавочья ярого слова я
Тебе, мой соенок, птаха моя любимая!

Пришел ты из Рязани платочком бухарским,
Нестираим, исполосканным, немыленным,
Звал мою пазуху улусом татарским,
Зубы табунами, а бороду филниом!

Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка,
Слоной крепил мысли, слова слезинками,
Да погасла зарная свеченька, моя лесная лампадка,
Ушел ты от меня разбойными тропинками!

Кручиниушка была деду лесному,
Трепались по урочищам берестяные седины,
Плакал дымом овинник, а прясла солому
Пускали по ветру, как пух лебединый.

•

Из-под кобыльей головы, загиблыми мхами
Протянулась окаяниная пьяная стежка.
Следом за твоими лаковыми башмаками
Увязалась поджарая дохлая кошка.

Ни крестом от нее, ни перстом, ни мукой,
Женился ли, умер — она у глотки,
Вот и оступел ты веселой скукой
В кабацком буруне топить свои лодки!

А все за грехи, за измену зыбке,
Запечным богам Медосту и Власу.
Тошнехонько облик кровавый и глыбкий
Заре вышивать по речному атласу!

•

Рожиное мое дитятко, матюжик милый,
Гробовая доска — всем грехам покрывка.
Прости ты меня, борова, что кабаньей силой
Не вспомил я тебя до золотого излишка!

Златой же удел — быть пчелой жировой,
Блюсти тайники, медовые срубы.
Да обронил ты сахарскую гривну —
Целовать лишь ковригу, солнце да цвет голубый.

С тобою бы лечь во честной гроб,
Во желты пески, да не с веревкой на шее!..
Быль или небыль то, что у русских троп
Вырастают цветы твоих глаз синее?

Только мне горюну — горынь-травы..
Овдовел я без тебя, как печь без помяльца,
Как без Настеньки горенка, где шелки да канва
Караулят пустые, нешитые пальца!







Ты скажи, мое дитятко удатное,
Кого ты сполохался-спужался,
Что во темную могилушку собрался?
Старичища ли с бороною,
Аль гуменной бабы с метлою,
Старухи ли разварухи?
Суковатой ли во играх рюхи?
Знать, того ты сробел до смерти,
Что ноне годочки пошли слезовы,
Красны девушки пошли обманины,
Холосты ребята все бесстыжи!



Отцвела моя белая липа в саду,
Отзвенил соловьиный рассвет над речкой.
Вольготней бы на поклоне в Золотую Орду
Изведать ятагана с хаанской насечкой!

Умереть бы тебе, как Михайле Тверскому,
Опочить по-мужицки — до рук борода!..
Не напрасно по брови родимому дому
Нахлобучили кровлю лихие года.

Неспроста у касаток не лепятся гнезда,
Не играет котенок веселым клубком...
С воза, сноп-недовязок, в пустые борозды
Ты упал, чтобы грудь испытать колесом.

Вот и хрустинули кости... По желтому живью
Бродит песня-вдовица — ненастью сестра..
Счастливей елка, что зимнею синью,
Окутана саваном, ждет топора.

Разумнее лодка, дырявые груди
Целящая корпией тины и трав...
О жертве вечерней иль новом Иуде
Шумит молочай у дорожных канав?

•

Забудет ли пахарь гумно,
Луна — избяное окно,
Медовую кашку — пчела,
И белка — кладовку дупла?

Разлюбит ли сердце мое
Лесную любовь и жилье,
Когда, словно ландыш в струи,
Гляделся ты в песни мои?

И слышала бабка-Рязань,
В малиновой шапке Кубань,
Как их дорогое дитя
Запело, о небе грустя.

Напрасно Афон и Саров
Текли половодьем из слов,
И ангел улыбок крылом
Кропил над печальным цветком.

Мой ландыш березкой возник,—
Берестяный звонок язык,
Сорокой в зеленых кудрях
Уселись удача и страх.

В те годы Московская Русь
Скидала державную гнусь,
И тщетно Иван золотой
Царь-колокол нудил пятой.

Когда же из мглы и цепей
Встал город на страже полей —
Подпаском, с волынкой щегла,—
К собрату березка пришла.

На гостью ученый набрел,
Дивился на штытый подол,
Поведал, что пухом Христос
В кусткамерной банке оброс.

Из всех подворотен шел гам:
Иди, песноликая, к нам!
А стая поджарых газет
Скулила: кулацкий поэт!

Куда не стучался пастух —
Повсюду урчанье брюх.
Всех яростней в огненный мрак
Раскрыл свои двери кабаки.

★

На полете летит лебедь белая,
Под крылом несет хризопраз-камень.
Ты скажи, лебедь пречистая,—
На пролетах-переметах недосягнутых,
А на тихих всплавах по озерышкам
Ты поглядкой-выглядом не выглядела ль,
Ясным смотром-взором не высмотрела ль,
Не катилась ли жемчужина по чисту полю,
Не плыла ль злат-рыба по тихозаводью,
Не шел ли бережком добрый молодец,
Он не жал ли к сердцу певуна-травы,
Не давался ли на родимую сторонушку?
Отвечала лебедь умная:
На небесных переметах только соколы,
А на тихих всплавах — сиг да окуни,

На матерой земле медведь сидит,
Медведь сидит, лапой моется,
Своей суженой дожидается.
А я слышала и я видела:
На реке Неве грозный двор стоит,
Он изба на избе, весь железом крыт,
Поперек дворище — тыща дымников,
А вдоль бежать — коня загнать.
Как на том ли дворе, на большом рундуке,
Под заклятой черной матицей
Молодой детинушка себя сразил,
Он кидал себе кровь поджильную,
Проливал ее на дубовый пол.
Как на это ли жито багровое
Налетали птицы нечистые —
Чирея, Грызея, Подкожинца,
Напоследки же птица-Удавинца.
Возлетала Удавна на матицу,
Распрядала крыло пеньковое,
Опускала перище до земли.
Обернулось перо удавной петлей..
А и стала Удавна петь-напевать,
Зобом гортотать, к себе в гости звать:

«На румяной яблоне
Голубочек,
У серебряна ларца
Сторожочек.
Кто отворит сторожец,
Тому яхонтов корец.

На осенней ветвице
Яблок виден,—
Здравствуй, сокол-зятюшка —
Муж Снафдин!
У Снафиды перстеньки —
На болоте огоньки!

Угоди-ка вежеством,
Сокол, теще,
Чтобы ластить павушек
В белой роще!
Ты одень на шеюшку
Золотую денежку!»

Тут слетала я с ясна-месяца,
Принимала душу убойную
Что ль под правое тепло крылышко,
Обернулась душа в хризопраз-камень,
А несу я потеряшку на родину
Под окошечко материнское.
Прорастет хризопраз березынькой,
Кучерявой, росной, как Сергеюшко.
Сядет матушка под оконницу
С долгой прялицей, с веретенышком,
Со своей ли сиротской работушкой,
Запоеет она с ниткой наровне
И тонехонько и тихохонько:

«Ты гусыня белая,
Что сегодня делала?
Баю-бай, баю-бай,
Елка челкой не качай!

Али ткала, али пряла,
Иль гусенышка купала?
Баю-бай, баю-бай,
Жучка, попусту не лай!

На гусенышке пушок,
Тега мальчик-кудряшок —
Баю-бай, баю-бай,
Спит в шубейке горностай!

Спит березка за окном
Голубым купальским сном —
Баю-бай, баю-бай,
Сватал варежки шутай!

Сон березовый пригож,
На Сереженькин похож!
Баю-бай, баю-бай,
Как проснется невзначай!»

1926





ДЕРЕВНЯ

*Валентину Михайловичу
Белогородскому*

Будет, будет стократы
Изба с матицей пузатой,
С лежанкой-единорогом,
В углу с урожайным Богом:
У Бога по блину глазища,—
И под лавкой грешника сыщет,
Писан Бог зографом Климом
Книоварью да златным дымом.
Лавицы — сидеть Святогорам,
Кот с потемным дозором,
В шелому чтоб роились звезды...
Вот они, отчие борозды —
Посеешь усатое жито,
А вырастет песен сыта!
На обраду баба с пузаном —
Не укрыть извозным кафтаном,
Полгода, а с телку весом.
За оконцами тучи с лесом,
Все кондовым да заруделым...
Будет, будет русское дело,—
Объявится Иван Третий
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметет мужик бородою!
Нам любы Бухары, Алтан,—
Не тесно в родимом крае,
Шумит Куликово поле

Ковыльной залетной долей.
По Волге, по ясной Оби,
На всяком лазе, сугробе,
Рубили мы избы, детинцы,
Чтоб ели внуки гостиницы,
Чтоб девки гуляли в бусах,
Не в чужих косоглазых улусах!
Ах девки — калина с малиной,
Хороши вы за прялкой с лучиной,
Когда вихорь синебородый
Заметает пути и броды!
Вои Полоцкая Ефросинья,
Ярославна — зегзица с Путняля,
Евдокию — Донского ладу
Узнаю по тихому взгляду!
Ах парни — Буслаевы Васьки,
Жильцы из разбойной сказки,
Все лететь бы голью на буяны
Добывать золотые кафтаны!
Эво: как схож с Коловратом,
Кучерявый, плечо с накатом,
Видно, у матери груди —
Ковши на серебряном блюде!
Ах, матери — трудинцы наши,
В лапотцах, яблоки краше,
На каждой, как тихий привет,
Почил немерцающий свет!
Ах, деды — овинов владыки,
Ржаные, ячменные лики,
Глядишь и не знаешь — сыр-бор
Иль лунный в сединах дозор!

Ты Расея, Расея матка,
Чаровая, зачатая кадка!
Что там, кровь или жемчуга,
Иль лысого черта рога?
Рогатиной иль каноном

Открыть наговорный чан?..
Мы расстались с саровским звоном —
Утолением плача и ран.
Мы новгородскому Никите
Оголили трухлявый срам,—
Отчего же на белой раките
Не поют щеглы по утрам?
Мы тонули в крови до пуза,
В огонь бросали детей,—
Отчего же небесный кузов
На лучи и зори скупей?
Маета как змея одолела,
Голову бы под топор..
И Сибирь, и земля Карела
Чутко слушают выюжный хор.
А выюга скрипит заслонкой,
Чернит сажей горшки..
Знаем, бешеной самогонкой
Не насытить волчьей тоски!
Ты Расея, Расея матка,
На мирской смирлосердись гам:
С жемчугами или с кровью кадка,
Окаянным поведай нам!

•

На деревню привезен трактор —
Морж в людское жилье.
В волсовете баяли: «Фактор,
Что машина... Она тое...»
У завалин молчали бабы.
Детвору укутала сонь,
Как в поле межою рябой
Железный двинулся конь.
Желты пески, расступитесь,
Прошуми на последках, полынь,
Полюбил стальногогрудый втязь

Полевую плакучую снь!
Только видел рыбак Кондратий,
Как побережьем, не глядя назад,
Утопиться в окуней гати
Бежали березки в ряд.
За ними с пригорка елки
Разодрали ноженьки в кровь...
От ковриг надломятся полки,
Как взойдет железная новь.
Только ласточки по сараям
Разбили гнезда в куски.
Видно к хлебушку с новым раем
Посошку пути нележки!

•

Ой ты каша, да щи с мозгами —
Каргопольской ложке родня!
Черноземье с сибиряками
В пупыре захотело огня!
Лучина отплакала смолю,
Еидова показала течь.
И на гостя с тупою болью
Дымоходом воззрилась печь.
А гость, как оса в сетчатке,
В стекольчатом пузыре...
Теперь бы книжку Васятке
О Ленине и о царе.
И Вася читает книжку,
Синеглазый как василек...
Пятясь, охая, на сынишку
Избяной дивится восток.
У прялки сломило шейку,
Разбранились с бердами льны,
В низколобую коробейку
Улеглись загадки и сны.
Как белица, платок по брови,

Туда, где лесная мгла,
От полавочных изголовий
Неслышио сказка ушла.
Домовые, нежити, мавки —
Только сор, заскорузлый прах,
Глядь, и дед улегся на лавке
Со свечкой в желтых перстах.
А гость, как оса в сетчатке,
Зенков не смежит на миг...
Начнтаются всласть Васятки
Голубых задумчивых книг!

Ты Расея, Расея теща,
Насолнила ты лихо во щи,
Намаслила кровушкой кашу —
Насытишь утробу нашу!
Мы сыты, мать, до печенок,
Душа — степной жеребеноч
Копытом бьет о грудину, —
Дескать, выпусти на долину
К резедовым лугам, водопою!..
Мы не знаем ныне покою,
Маста-змея одолела
Без сохи, без милого дела,
Без сусальной в углу Пирогощей!..
Ты Расея — ляхая теща!..
Только будут, будут стократы
На Дону вишневые хаты,
По Сибири лодки из кедра,
Олончане песнями щедры,
Только 6 месяц, рядятся в дымы,
На реке бродил по налимь,
Да черемуху в белой шали
Вечера как девку ласкали!

1926

ПОГОРЕЛЬЩИНА

Наша деревня — Сигóвой Лоб
Стоит у лесных и озерных троп,
Где губы морские, олень да остьак,
На тысячу верст ягелевый желтак.
Сигóвец же — ярь и сосновая зель,
Где слушают зори медвежьё свирель,
Как рыба чешуйка свирель та легка,
Баюкает сказку и сны рыбака.
За неводом сои — лебединый затон,
Там яйца в пуху и кувшиновый звон,
Лосиная шерсть у совихи в дупле,
Туда не плыву я на певчем весле!

Порато баско весной в Сиговце,
По белым избам на рыбьем солнце!
А рыбье солнце — налимья майка,
Его заманит в чулан хозяйка,
Лишь дверью стукнет — оно на прятке
И с веретенцем играет в салки.
Арина-баба, на пряжу дюжа,
Соткет из солища порты для мужа,
По ткани свекор, чтоб песне длиться,
Доской резиною набьет копытца,
Опосле репки, следцы гагары...
Набойки хватит Олехе, Дарье,
На новоселье и на поминки...
У наших девок пестры ширинки,

У Степаниды, веселой Насти
В коклюшках кони живых брыкастей,
Золотогривы, огнекопытны,
Пьют дым плетеный и зоблют ситный,
У Прони скатерть синей Онега —
По зыби едет луны телега,
Кит-рыба плещет, и яро в нем
Пророк Иона грозит крестом.

Резчик Олеха — лесное чудо,
Глаза — два гуся, надгубье рудо,
Повысек птицу с лицом девичьим,
Уста закланы потайным кличем.
Когда Олеха тесал долотцем
Сосцы у птицы, прошел Сиговцем
Медведь матерый, на шею гривна,
В зубах же книга, злата и дивна.
Заполовели у древа щеки,
И голос хлябкий, как плеск осоки,
Резчик учуял: «Я — Алконост,
Из глаз гусиных напыюся слез!»

•

Иконник Павел — насельник Давиний
Из Мстер великих, отец Дубравне,
Так кличет радость язык рыбачий...
У Павла ошупь и глаз нерпячий —
Как нерпе сельди во мгле соленой,
Так духовидцу обряд иконный.
Бакан и умбра, лазорь с синелью
Сорочьей лапкой цветут под елью,
Червалец, зарянку, огонь купинный
По косогорам прядут рябины.
Доска от сердца сосны кондовой —
Иконописцу как сот медовый,
Кадит фиалкой, и дух лесной
В сосновых жилах гудит пчелой.

Явление Иконы — прилет журавля, —
 Едва прозвенит жаворонком земля,
 Смиренному Павлу в персты и в зрачки
 Слетятся с павлинами радуг полки,
 Чтоб в роще ресниц, в лукоморьях ногтей,
 Повывесть птенцов — голубых лебедей, —
 Их плески и трубы с лазурным пером
 Слыгут по Сиговцу «доличным письмом».
 «Виденье Лица» богомазы берут
 То с хвойных потемок, где теплится трут,
 То с глубн озер, где ткачиха-луна
 За кросиом янтарным грустит у окна.
 Егорню с селезья пишется конь,
 Миколу — с крещатого клена фелонь,
 Успение — с перышек горлиц в дупле,
 Когда молотьба и покой на селе.
 Распятие — с редьки: как гвозди креста,
 Так редечный сок опалает уста.
 Но краше и трепетней зографу зреть
 На птичьих загонах гусиную сеть,
 Лукавые мерды и петли ремней
 Для тысяч белых кувшиновых шей.
 То образ Суда, 'н метелица крыл —
 Тень мира сего от сосцов до могил.
 Студеная Кола, Поволжье и Дон
 Тверды не железом, а воском икон.
 Гончарное дело прехитро зело,
 Им славятся Вятка, Опошья-село;
 Цветет Украина румяным горшком,
 А Вятка кунганом, ребячьим коньком.
 Сиговец же Андому знает реку,
 Там в крынках кукушка ку-ку да ку-ку,
 Журавль-рукомойник курлы да курлы,
 И по сту годов доможирят котлы...
 Сиговому Лбу похвала — Силиверст,

Он вылепил Спаса на Лопский погост,
Украсил сурьмой и в печище обжег,
Суров и прекрасен глазуревый бог.

На лопский погост (лопари, а не чудь)
Укажут куницы да рябчики путь;
Не ешь лососнины и с бабой не спи,
Берестяный пестер молитв накопи,
Волвянок-Варвар, богородиц-груздей,
Пройдут в синих саванах девять ночей,
Десятые звезды пойдут на потух,
И Лопский погост — многоглавый петух —
На кедровом гребне воздынет кресты:
Есть Спасову печень сподобишься ты.
О русская сладость — разбойника вопь —
Идти к красоте через дебри и топь
И пестер болячек, заноз, волдырей
Со стоном свалить у Христовых лаптей!
О мед нестерпимый — колодовый гроб,
Где лебедя сои — изголовьице сноп,
Под крылышком грамота: «Чадца мои,
Не ешьте себя ни в иощи, ни во дни!»

*

Порато баско зимой в Сиговце!
Снега как шапка на устьсысолице,
Леса — тулупы, предлесья — ноги,
Где пар медвежий да лосьи логи,
По шапке выются пути-сузёмки,
По ним лишь думу нести в котомке
От мхов оленьих до кипарисов...
Отец «Ответов» Андрей Денисов
И трость живая — Иван Филиппов
Сузёмок пили, как пчелы липы.
Их черным медом пьяны доселе
По холмогорским лугам свирели,

По сизой Выге, по Енисею
Седые кадры их дыхом веют...
Но вспять сказанье! Зимой в Сиговце
Помор за сетью, ткея за дощем,
Петух на жердке дозорит беса,
И снежный ангел кадит у леса.
То книоварный, то можжевательный,
Лучась в потемках свечой радельной.
И длится сказка... Часы иль годы,
Могучей жизни цветисты всходы.
За бородищей незрим Васятка,
Сегодня в зыбке, а завтра — нать-ка! —
Кудрявый парень, береста — зубы,
Плечистым дядям племянник любый!
Изба — криница без дна и выси,
Семью питает сосцами рыси.
Поет ли бахарь, орда ли мчится,
Зверным пойлом полна криница,
Извечно мерно скрипит черпуга...
Душа кукует, иль ноет выюга,
Но сладко, сладко к сосцам родимым
Припасть и плакать по долгим зимам!
Не бели снеги да сугробы
Замели пути до зазиобы,
Ни проехать, ни пройти по проселку
Во Настасьину хрустальную светелку!

Как у Настеньки женихов
Было сорок сороков,
У Романовны сарафанов —
Сколько у моря туманов!..

Виноградье мое со калиною,
Выпускай из рукава стаю лебединую!
Уж как лебеди на Дунай-реке,
А свет Настенька на белой доске,

Не оструганной, не отесанной,
Наготу свою застит косами!

Виноградье мое, винограднице,
Где зазнобино цветно платице?
Цветно платице с аксамитами
Ковылем шумит под ракетами!

На раките зозулит зозуля:
«Как при батыре-есауле...»
Ты, зозуля, не щемь печенки
У гнусавой каторжной девчонки!
Я без чести, без креста, без мамы,
В Звенигороде иль у Камы
Напилась с поганого копытца.
Мне во злат шатер не воротиться!
Ни при батыре-есауле,
Ни по осени, ни в июле,
Ни на Мезени, ни в Коломие,
А и где, с опитухи не помню,
А звалась свет-Анастасией!..
Вот так песня, словеса лихие,
Кто пропел ее в голубый вечер
На дремотном веретенном вече?!
И сказал Олеха: «Это ели
Стать смолистым срубом захотели,
Или сосны у лесной часовни
Запряглись в ледяные дровни,
Чтоб бежать от самоедской стужи,
Заглядеться в водопой верблужий!»
«Нет,— сказала кружевница Проня,—
Это кони в петельной погоне
Расплескали бубенцы в коклюшках,
Или в рукомойнике кукушка
Нагадала свадьбу Дорофею».
«Знать, прогукал филин к снеговую,—

Молвил свекор, — или гусь с набойки
Посулил леща глазастой сойке!»
Силиверст пробаял: «То в гончарной
Стало рябому котлу угарно,
Он и стонет, прасол нетверезый!..»
Светлый Павел, утирая слезы,
Обронил из уст словесный бисер:
«Чадца, теля не от нашей рыси,
Стала ялова праматьер на удои,
Зазывают избы волчьим воем,
И с иконы ускокал Егорий —
На божнице змий да сине море!..
Неусыпающую в молитвах Богородицу
Кличьте, детушки, за застолицу!»

«Обрадованное Небо —
К тебе озера с потребой!
Сладкое лобзание —
До Тебя их рыдание!
Неопалимая Купина —
В чем народная вина?
Утоли Моя Печали —
Стаи березкой на протале!
Умягчение Злых Сердец —
Сядь за теплый колобеч!
Споручница Грешных —
Спаси от мук кромешных!»

Гляньте, детушки, на стол —
Он стоит чумаз и гол,
Нету Богородицы
У пустой застолицы!

Вы покличьте-ка, домочадцы,
На Сиговец к студеному долу
Парусов и рыбарей братца,
Святителя теплого — Миколу!

Он, кормилец, в ризе сермяжной,
Ряди песни младеня в зыбке,
Откушает некуражно
Яитарной ухи да рыбки!

«Парусов погонщик Миколае,
Объявился змий в родимом крае,
Вороти Егорья на икону —
Избяного рая оборону!
Красной ложкой похлебай ушницы,
Мы тебе подарим рукавицы
И на ноженьки оленьи пимы,—
Свете тихий, свет незаходимый!
Русский сад — мужики да бабы,
От Норвеги и до смуглой Лабы
Принесем тебе морошки, яблоч...
Ты воспой, наш сладковейный зяблик!»

Правило веры и образ кротости,
Не забудь соборной волости!

В зимы у нас баско —
Деды бают сказки,
Как потемок скрыни,
Сарафаны сини,
Шубы долгоклиины,
Лестовицы чинины!
По молениим нашим
Чирин да Парамшин,
И персты Рублева —
Словно цвет вербовый!
По зеленым веснам
Прилетает к соснам
На отцов могилы
Сирни песнокрылый.
Он, что юный розан,

По Сиговцу прозван
Братцем виноградным,
В горестях усадным:

Ти-ли, ти-ли-ли —
Плывут корабли —
Голубые паруса
Напрямки во небеса.
У реки животной
Берег позолотный,
Воды-маргариты
Праведным открыты.
Кто во гробик ляжет
Бледной, лунной пражей,
Тот спрядется Богом
Радости залогом!
Гробик, ты мой гробик,
Вековечный домик,
А песок желтяный —
Суженый, желанный!»

Гляньте, детушки, на стол —
Змий хвостом ушницу смел,
Адский пламень по углам:
Не пришел Микола к нам!

*

Увы, увы, раю прекрасный!..
Февраль рассыпал бисер рясный,
Когда в Сиговец, златно-бел,
Двуликий Сирин прилетел.
Он сел на кедровой вершине,
Она заплакана доньяне,
И долго-долго озирает
Лесов дремучий перевал.
Истаевая, сладко он

Воспел: «Кирие елейсон!»
Напружилось лесное недро,
И, как на блюде, вместе с кедром
В сапфир, черемуху и лен
Певец чудесный вознесен.

В тот год уснул навеки Павел,
Он сердце в краски переплавил
И написал икону нам:
Тысячестолпный дивный храм,
И на престоле из смарагда,
Как гроздь в точиле винограда,
Усекновенная глава.
Вдали же никлые березы
И журавлиные обозы,
Ромашка и плакун-трава.
Еще не гукала сова,
И тетерев по талой зорьке
Клевал пестрец да ягель горький,
Еще медведь на водопое
Гляделся в зеркальце лесное
И прихорашивался втай —
Стоял лопарский сизый май,
Когда на рыбьем перегоне
В лучах озерных, легче соний,
Как в чаще запоиы опал,
Олеха старцев увидал.
Их было двое светлых братий,
Одни Зосим, другой Савватий,
В перстах золотые кацен...
Стал огнен парус у ладьи
И невода многоочиты,
Когда, снятием повиты,
В нее вошли озер Отцы:
«Мы покидаем Соловцы,
О человече Алексие!
Вези нас в горнюю Россию,

Где Богородица и Спас
Чертог украсили для нас!
Не стало резчика Олехи...
Едва забрезжили сполохи,
Пошла гагара наутек,
Заржал в коклюшках горбунок,
Как будто годовалый волк
Прокрался в лен и нежный шелк.
Лампадка теплилась в светелке,
И за мудреною иголкой
Приснился Проне смертный сон:
Сиговец змием полонен,
И нет подойника, ушата,
Где б не гнездились змеята.
На бабыных шеях, люто злы,
Шипят зменные узлы,
Повсюду посвины и жала,
И на погосте кровью алой
Заплакал глиняный Христос...
Отколе взялся Алконост,
Что хитро вырезан Алешей?
«Я за тобою по пороше!
Летим, сестрица, налегке
К льняной и шелковой реке!»
Не стало кружевницы Прони...
С коклюшек ускакали кони,
Лишь златогривый горбунок,
За печкой вынскав Клубок,
Его брыкает в суточенки,
А в горенке по самогонке
Тальянка гиблая орет —
Хозяев новых обиход.

•

Степенный свекор с Силиверстом
Срубили келью за погостом,
Где храм о двадцати главах,

В нем Спас в глазуревых лаптях.
Который месяц точит глина,
Как нней ягодный крушина,
Из голубой поливы глаз
Кровавый бисер и топаз,
Чудно, болезно мужичью
За жизнь суровую свою,
Как землянику в кузовок,
Сбирать слезинки с Божьих щек!
Так жили братья. Всякий день,
Едва раскинет сугемень
Свой чум у тасжных полян,
В лесную келью сквозь туман
Сорока грамотку носила.
Была она четверокрыла,
И, полюбив налимье сало,
У свекра в бороде искала.
Уж не один полет воочью
Сильверст за пазухой сорочьей
Худые вести находил,
Писал их столпник, старец Нил.
Он на прибрежьи Онега
Построил столп из льда и снега,
Покрыв его дерном, берестой,
И тридцать лет стоит невестой
Пустынных чаек, облаков
И серых беличьих лесов.
Их немота родила были,
Что белки столпника кормили.
Он, по-мирскому, стольный князь,
Как чешуей озерный язь,
Так ослеплял служилым златом
Любимец царские палаты.
Но сгибло все! Нил на столпе —
Свеча на тасжной тропе,
В свое дупло, как хризопраз,
Его укрыл звериный Спас!

Однажды птица прилетела
 Понурою, отяжелелой
 И не клевала творожку.
 Сильверст желанную строку
 У ней под крылышком сыскал.
 «Готовьтесь к смерти»,— Нил писал.
 Ударил в било поспешно...
 И, как опалый цвет черешни,
 На новоселье двух смертей
 Слетелись выводки гусей,
 Тетерева и куропатки,
 Свиства крылами, без оглядки,
 На звон завихрились из пуш.
 И молвил свекор: «Всемогущ,
 Кто плачет кровню за тварь!
 Отменно знатной будет гарь,
 Недаром лоси ломают роги,
 Медведи, кинувши берлоги,
 С котятами рябая рысь
 Вкруг нашей церкви собралась...
 Простите, детушки, убогих!
 Мы в невозвратные дороги
 Одели новое рядно...
 Глядят в небесное око
 На нас Аввакум, Феодосий...
 Мы вас, болезные, не бросим,
 С доукою пойдем ко Власу,
 Чтоб дал лебедушкам атласу,
 А рыси выбойки рябой!..
 Живите ладно меж собой.
 Вы лоси, не бодайтесь больно,
 Медведихе — княгине стольной
 От нас в особицу поклон,—
 Ей на помни овса суслон,
 Стоит он, миленький, в сторонке...

Тетеркам пестрым по иконке —
На них кровотоочивый Спас,
Пускай помолятся за нас!»

«Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко», —
Воспела в горести великой
На человечесем языке
Вся тварь вблизи и вдалеке.
Когда же церковь-купина
Заполыхала до вершины,
Настала в дебрях тишина
И затаили плеск осины.
Но вот разверзлись купола,
И вьявь из маковицы главной
На облак белизны купавной
Честная двоица взошла,
За нею трудница-сорока
С хвостом лазоревым, в тороках...
Все трое метятся писцом
Горящей птицей и крестом.

*

Не стало деда с Силиверстом...
С зарей над сгибнувшим погостом,
Рыдая, солнышко взошло
И по надречью, по-над логом
Оленем сивым, хромоногим
Заковыляло на село.
Несло валежником от суши,
Глухою хмарой от болот,
По горенкам и повалушам
Слонялся человеческий сброд.
И на дугу перед моленной,
Сияя славою нетленной,
Икон горящая скирда:
В окне Мокробородый Спас,

Успение, коровий Влас...
Се предреченная звезда,
Что в карих сумерках всегда
Кукушкой окликала нас!

Да молчит всякая плоть человека...
Уснул, аки лев,
Великий Сиг!
Икон же души, с поля сечи,
Как белый гречневый посев,
И видимы на долгий миг,
Вздвигались в горию Софию...
Нерукотворную Россию
Я, писнописец Николай,
Свидетельствую, братья, аам!
В сороковой полесный май,
Когда линияет пестрый дятел
И лось рога на скид отпятил,
Я шел по Унженским горам.
Плескали лососи в потоках,
И меткой лапою с наскока
Ловила выдра лососят.
Был яр, одушевлен закат,
Когда безаестный перевал
Передо мной китом взыграл.
Прибоем пихт и пеной кедроа
Кипели плоскогорий недра,
И ветер, как крыло орла,
Студил мне грудь и жар чела.
Оледенелыми губами
Над россомашьими тропами
Я бормотал: «Святая Русь,
Тебе и каторжной молюсь!..
Ау, мой ангел пестрядинный,
Явился хоть на миг единый!»
И чудо! Прыснули глаза
С козиц моих, как бирюза,

Потом, как горные медведи,
Сошлись у врат из тяжелой меди.
И постучался левый глаз,
Как носом в лужицу бекас,—
Стена осталась безответной.
И око правое — медведь
Сломало челюсти о медь,
Но не откликнулась верев,
Лишь страж, кольчугой пламенея,
Сиял на башне самоцветной.
Сластолюбивый мой язык,
Покниув рта глухие пади,
Веприцей ринулся к ограде,
Но у столпов, рыча, поник.
С наместа ребер в свой черед
Вспорхнуло сердце — голубь рябий,
Чтобы с воздушного ухаба
Разбиться о сапфиновый свод.
Как прыснуть векше — голубок
В крови у медного порога!..
И растворились на восток
Врата запретного чертога.
Из мрака всплыли острова,
В девичьих бусах заозерья,
С морозным Устьюгом Москва,
Валдай — ямщик в павлиньих перьях,
Звенигород, где на стенах
Клюют пшено струфокамили,
И Вологда, вся в кружевах,
С Переяславлем белокрылым.
За ними Новгород и Псков —
Зятя в кафтанах атлабасных,
Два лебедя на водах ясных —
С седой Ладогой Ростов.
Изба резная — Кострома,
И Киев — тур золоторогий
На цареградские дороги

Глядит с Перунова холма.
Упав лицом в кремни и гальки,
Заплакал я, как плачут чайки
Перед отплытьем корабля:
«Моя родимая земля,
Не сетуй горько о невере,
Я затворюсь в глухой пещере,
Отрощу бороду до рук,—
Узнает изумленный внук,
Что дед недаром клад копил
И короб песенный зарыл,
Когда дуванили дуван!..»
Но прошлое как синь туман:
Не мыслит вешний жаворонок,
Как мертвен снег и ветер звонок.

*

Се предреченная звезда,
Что темным бором иногда
Совою окликала нас!..
Грызет лесной иконостас
Октябрь — поджарая волчица,
Тоскуют печи по ковригам,
И шарит оторопь по ригам
Щепоть кормилицы-мучицы.
Ушли из озера налимы,
Поедены гужи и пимы,
Кора и кожа с хомутов,
Не насыщая животов.
Покойной Прони в руку сон:
Сиговец змием полонен,
И синеглазого Васятку
Напредки посолили в кадку.
Ах синеперый селезень!..
Чирикал воробьями день,
Когда, как по грибной дозор,

Малютку клкнули на двор.
За кус говядины с печенкой
Сосед освеживал мальчонка
И серой солью посолил
Вдоль птичьих ребрышек и жил.
Старуха же с бревна под балкой
Замыла кровушку мочалкой.
Опосле, как лиса в капкане,
Излилась лаем на чулане.
И страшен был старуший лай,
Похожий то на баю-бай,
То на сорочье стрекотанье.
Ополночь бабкнию страданье
Взошло над бедною избой
Васяткиною головой.
Стеклися мужики и бабы:
«Да, те ж вихры и носик рябый!»
И вдруг, за гиблую вину,
Громада взвыла на луну.
Завыл Парфен, худой Егорка,
Им на обглодаанных задворках
Откликнулся матерый волк...
И родился темный толк:
Старух и баб-сорокалеток
Захоронить живьем в подклеток
С обрядой, с жалкой плачëй
И с теплою мирской свечой,
Над ними избу запалить,
Чтоб не досталнсь волку в сыты!

*

Так погибал Великий Снг
Заставкою из древних книг,
Где Стратилатом на коне
Душа Россин, вся в огне,
Летит ко граду, чьи врата

Под знаком чаш и креста!
Иная видится заставка:
В светлице девушка-чернавка
Змею под створчатым окном
Своим питает молоком —
Горыныч с запада ползет
По горбылям железных вод!
И третья восстает малюнка:
Меж колок золотая струнка,
В лазури солнце и луна
Внимают, как поет струна.
Меж ними костромской мужик
Дивится на зверный лик, —
Им, как усладой, манит бес
Митя в непролазный лес!

Так погибал Великий Сиг,
Сдирая чешую и плавни!..
Год девятнадцатый, недавний,
Но горше каторжных вериг!
Ах, пусть полголовы обрито,
Прикован к тачке рыбогон,
Лишь только бы, шелкамн шты,
Дремали сосны у окон,
Да родина нас оведала
Черемуховым крылом,
Дымился ужин рыбьим салом,
И ночь пушистым глухарем
Слетала с крашенных полатей
На осьмерых кудрявых братий,
На становитых зятевей,
Золовок, внуков-голубей,
На плешь берестяную деда
И на мурлыку-тайноведа, —
Он знает, что в тяжелой скрыне,
Сладким родником в пустыне,
Бьют матери тепло и ласки...





Родная, не твои ль салазки,
В крови, изгрызены пургой,
Лежат под Чертовой Горой?!

Загигбла тройка удалая,
С уздой татарская шлея,
И бубенцы — дары Валдая,
Дуга моздокская лихая —
Утеха светлая твоя!

«Твоя краса меня сгубила,—
Певал касимовский ямщик,—
Пусть неотпетая могила
В степи ненастной и унылой
Сокроет ненаглядный лик!»

Калужской старою дорогой,
В глухих олонецких лесах
Сложилось тайни и песен много
От сахалинского острога
До звезд в глубоких небесах.

Но не было напева краше
Твоих метельных бубенцов!..
Пахнуло молодостью нашей,
Крещенским вечером с Парашей
От ярославских милых слов!

Ах, неспроста душа в озиобе,
Матерой стан чуя вой! —
Не ты ли, Пашенька, в сугробе,
Как в неотпетом белом гробе,
Лежишь под Чертовой Горой?

Разбиты писанные сани,
Издых ретивый коренник,
И только ворон на-заране,
Ширия клювом в мертвой ране,
Гнусавый испускает крик!

Лишь бубенцы — дары Валдая
Не устают в пурговом сне
Рыдать о солнце, птичьей стае
И о черемуховом мае
В родной далекой стороне!

•

Кто вы — лопарские пимы
На асфальтовой мостовой?
«Мы сосновые херувимы,
Слетели в камень и дымы
От синих озер и хвой.
Поведайте, добрые люди,
Жалея лесной народ,
Здесь ли с главой на блюде,
Хлебая железный студень,
Иродова дочь живет?
До нее мы в кошеле рысьем
Мирской гостинец несем —
Спаса рублевских писем,
Ему молился Аинсим
Сорок лет в затворе лесном!
Чай, перед Светлым Спасом
Блудница не устоит,
Пожалует нас атласом,
Архангельским таранасом,
Пузатым, как рыба-кит!
Да еще мы ладим гостинец:
Птицу-песню пером в зарю,
Чтобы русских высоких крылец,

Как околиц да позатылиц,
Не минуць н богатырю!
Чай, на песню Ироднада
Склоинт милостиво сосцы,
Поднесет нам с перлами ладан,
А из вымени винограда
Даст удой вина в погребцы!»

Выла улица каменным воем,
Глотая двуногие пальто:
«Оставьте нас, пожалста, в покое!..»
«Такого треста здесь не знает никто!..»
«Граждане херувимы, прикажите авто?»
«Позвольте, я актив из КИМа!..»
«Это экспонаты из губздравы!..»
«Миллионер, поймали херувима!..»
«Реклама на теплые джинсы?...»
«А!.. Да!.. Вот... Так, право!!!»
«А из вымени винограда
Даст удой вина в погребцы...»

Это последняя Лада,
Купава из русского сада,
Замирающих строк бубенцы!
Это последняя липа
С песенным сладким дуплом;
Знаю, что слышатся хрипы,
Дрожь и тяжелые всхлипы
Под мылым когда-то пером!
Знаю, что вечной весною
Веет березы душа,
Но борода с сединою,
Молодость с песней ниюю
Слезного стоят гроша!
Вы же, кого я обидел
Крепкой кириллицей слов,

Как на моей панихиде,
Слушайте повесть о Лидде —
Городе белых цветов!

Как на славном Индийском помории,
При ласковом князе Оиории
Воды были тихие, стерляжие,
Расстилались шелковою пряжею.
Берега — все ониксы с лалами,
Кутались бухарскими шальями,
Еще пухом чаиц с гагарятами,
Тафтяными легкими закатами.
Кедры-ливаны семерым в обойм,
Чудно вышиты паруса у сойм,
Гнали паруса гуси махами,
Селезин с чирятами-кряками.
Солнышко в снастях бородой трясло,
Месяц кормовое прямил весло,
Серебряным салом смазывал,
Поморянам пути указывал.
Срубил князь Оиорий Лидду-град
На синих лугах меж белых стад.
Стена у города кипарисова,
Врата же из скатного бисера.
Избы во Лидде — яхоиты,
Не знают мужики туги-пахоты.
Любовал Оиорий высь нагорную —
Повыстроить церковь соборную. —
Тесали каменья брусьями,
Узорили налепами да бусами,
Лемехом свинчатый крыли кровлища,
Закомары, лазы, переходища.
Маковки, кресты басменили,
Арабской синелью синелили,
На вратах чеканили Митрия,
На столпе писали Одигитрию.
Чаицы, гагары встрепыхались,

На морское дно опускалися,
Доставали жемчугу с искрицей —
На высокий кокошник Владычице.

А н всем пригоже у Онория
На славном Индийском поморни,
Только нету в лугах мала цветика,
Колокольчика, курослепика,
По лядинам ушка медвежьего,
Кашки, ландыша белоснежного.
Во садах не алело розана,
«Цветником» только книга прозвана.
Закручинилась Лидда стольная:
«Сиротника я подневольная!
Не гулять сироте по цветикам,
По лазоревым курослепикам,
На Купалу мне не завить венка,
Средь пустых лугов протекут века...
Ой, верба, верба, где ты сросла?
Твон листыньки вода снесла!..»
Откуль взялась орда на выгоне —
Обложили град сарациняне.
Приужахнулся Онорий с горожанамн,
С тихими стадами да полянами:
«Ты, Владычица Одигитрия,
На помогу нам вышли Митрия,
На нем ратная сбруна чеканена,
Одолеет он половчанина!»
Прослезилася Богородица:
«К Моему столпу мчится конница!..
Заградили Меня целой сотнею,
Раздирают хламиду золотную
И высокий кокошник со искрицей...
Рубят саблямн лик Владычице!!!»
Сорок дней и ночей сарациняне
Столп рубили, пылили на выгоне,
Краски, киноварь с Богородицы

Прахом веяли у околицы,
Только Ляк пригож и под саблями,
Горемычными слезками бабыми,
Бровью волжскою синеватою
Да улыбкою, скорбно сжатою,
А где сеяли сита разбойные
Живописные вапы иконные,
До колен и по оси тележные
Вырастали цветы белоснежные.
Стала Лидда, как чайка, белешенька,
Сарацинами мглится дороженька,
Их могилы цветы приукрасили
На Онорья святых да Протасия!

Лидда с храмом белым,
Страстотерпным телом,
Не войти в тебя!
С кровью на ланитах
Сгибнувших, убитых
Не исцель, любя.

Только нежный розан,
Из слезинок создан,
На твоей груди.
Бровью синеватой
Да улыбкой сжатой
Гибель упреди!

Радонсж, Самара,
Пьяная гитара,
Свился в одно...
Мы на четвереньках,
Нам мычать да тренькать
В мутное окно!

За окном рябина,
Словно мать без сына,
Тянет рук сучье.

И скулит трезором
Мглица под забором —
Темное зверье.

Где ты, город-розан,
Волжская береза,
Лебединый крнк
И, ордой иссечен,
Осиянно вечен,
Материнский Лик?!

Цветик мой дитячий,
Над тобой поплачет
Темень да трезор.
Может, им под тыном
И пахнёт жасмином
От Саронских гор!

1927 — 1928

ПРИМЕЧАНИЯ

Александр Блоку (с. 22). Первое письмо Клюева Блок получил в 1907 году, и с этого времени началась их интенсивная переписка, длившаяся почти десять лет. Письма Клюева неизменно производили большое впечатление на Блока. «Письмо Клюева окончательно открыло глаза!» — комментирует он одно из них. «Я над клюевским письмом. Знаю все, что надо делать: отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу». «Послание Клюева все эти дни — поет в душе». Выдержки из писем Клюева Блок цитировал в статьях «Литературные итоги 1907 года», «Религиозные искания и народ». Первый свой сборник «Сосен перезвон» Клюев посвятил «Александру Блоку — Нечаянной Радости».

«Вы обещали нам сады...» (с. 28). Эпиграф — тот же, что и в стихотворении К. Д. Бальмонта «Оттуда», где имеется помета «Кораи».

Рождество избы (с. 33). *Кокора* — еловое бревно с корневищем, загибным под прямым углом. Использовалось при строительстве кровли безвозвальной конструкции. Концы кокор вырезались в виде головы птицы или коня. *Подзоры* — резные доски по ребру ската кровли. *Лудянка* — полуда, краска для лужения. *Ярь* — жар, огонь, пыл (в прямом и переносном значении).

Избавные песни (с. 34). Посвящены памяти матери поэта, Прасковьи Дмитриевны, умершей в ноябре 1913 года.

«Четыре вдовы к усопшей пришли» (с. 34). *Хрущатая ряднина* — хрущатый — плотный, хрусткий — постоянный фольклорный эпитет к словам «полотно», «холст» и т. д., ряднина — грубое домотканое полотно, из

которого делали подстилки, мешки и т. д. *Камлот* — плотная, шерстяная ткань. *Ендова* — широкий (чаще медный) сосуд с носком для разливания напитков. *Ширинка* — полотенце, платок.

«Оттого в глазах моих проснись...» (с. 46). Впервые опубликовано в сб. «Скифы» (сб. 1) в составе цикла «Земля и Железо» с посвящением «Прекраснейшему из сынов крещеного царства крестьянину Рязанской губернии поэту Сергею Есенину». Знакомство Сергея Есенина и Николая Клюева состоялось осенью 1915 года. В начале их знакомства Есенин был для Клюева, помимо всего, собратом по судьбе, выходящем из народа, принесшим в город «с рязанских полей коловратовых» песни, близкие клюевским «Лесным былям». Клюев в то время опекал молодого поэта и всячески оберегал его от глетворного влияния петербургских салонов. «Я холодею от воспоминания о тех унижениях и покровительственных ласках, которые я вынес от собачьей публики. У меня накопилось около двухсот газетных и журнальных вырезок о моем творчестве, которые в свое время послужат документами, вещественными доказательствами того барско-интеллигентского напыщенного и презрительного взгляда на чистое слово и еще того, что Салтычихин и Аракчеевский дух до сих пор не вывелся даже среди лучших так называемого русского общества». (Из письма Н. Клюева С. Есенину, Август 1915.) Как свидетельства «барско-интеллигентского» отношения к народу Клюев в открыто полемическом контексте приводит цитаты из критических статей о себе и о С. Есенине в настоящем стихотворении. ...*страна моя, Белая Индия* — постоянный мотив стихотворений Клюева. Имеются в виду глубинные связи Руси и Востока (Индии, Тибета), установившиеся в незапамятные времена. Поиски старообрядцами «Града Невидимого», легендарного «Беловодья» происходили на границе Алтая и монгольских степей. Клюев неоднократно вспоминал о своих «хождениях» в Кульджу (Западный Китай) и Тибет.

Л е и н и (с. 57). Стихотворение, открывающее цикл «Ленин», опубликованный полностью во II томе «Песнослава»

(1919) и в сборнике «Ленин» (1924). Впервые напечатано в журнале «Знамя труда» (1918, № 1). Оттиск из «Песниослова» Ключев послал В. И. Ленину с дарственной надписью: «Ленину от моржовой поморской зари, от ковриги-матери, из русского рая красный словесный гостинец посылаю я — Николай Ключев, а посол мой сопостник и сомысленик Николай Архипов. Декабря тысяча девятьсот двадцать первого года». «*Поморские ответы*» — сочинение старообрядческого писателя Андрея Денисова (1664—1730), одного из главных вождей раскола в XVIII веке. *Церковь не наймит казенный* — имеется в виду декрет Советской власти об отделении церкви от государства. *Стопа Иоанна* — речь идет о московском великом князе Иване III (1462—1505), при котором Россия окончательно освободилась от татаро-монгольского ига (1480). *Борис, златоордый мурза* — царь Борис Годунов (1598—1605) был татарского происхождения. *Иван Великий* — колокольня в Московском Кремле, надстроенная при Борисе Годунове (1600). *Конецев* — остров на Ладожском озере.

«Мы — р ж а н ы е, т о л о к о н и ы е...» (с. 61). Полемика с пролетарским поэтом Кирилловым Владимиром Тимофеевичем (1890—1943), автором печально знаменитого стихотворения «Мы», являвшегося своего рода стихотворной декларацией уничтожения мировой культуры («Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы...»). В. Кириллов — член «Пролеткульта», с 1920 года — один из руководителей литературного объединения «Кузницы». Ключев встречался с ним в 1918 году в Петрограде.

«М а я к о в с к о м у г р е з и т с я г у д о к н а д З и м н и м...» (с. 64). Ключев во многих стихотворениях вел ожесточенную полемику с футуристами и Маяковским в частности, считая, что они как поэты «индустриальной» культуры не в состоянии создать подлинных поэтических ценностей. Также Ключев отрицательно отзывался о нигилистическом отношении футуристов к классической культуре. Начало стихотворения пародирует строку из стихотворения В. Маяковского «Радоваться раю» (1918): «Дым развейся над Зимним — фабрики макарониной!» *Маркони* — итальянский уче-

ный, изобрел радио одновременно с А. С. Поповым. «Изобразительные искусства» — Маяковский в 1918—1919 годах сотрудничал в органе Отдела изобразительных искусств Наркомпроса газете «Искусство коммуны». *Простой как мычание, и облаком в штанах казинетовых...* — здесь перефразированы названия сборника стихотворений Маяковского «Простое, как мычание» (1916) и поэмы «Облако в штанах» (1915).

«В степи чумацкая зола...» (с. 66). Написано в период сближения Есенина с литературной группой имажинистов, к которым Клюев относился резко отрицательно и считал, что связь с ними губительна для Есенина. «Кобыльи корабли» — поэма Есенина (1919). *Мариенгоф А. Б.* (1897—1962) — поэт-имажинист, поддерживающий дружеские отношения с Есениным в 1919—1923 годах. «Голубень» и «Трерядница» — книги стихов Есенина (1918—1920). «Песнослов» — двухтомник стихотворений Клюева (1919).

«Баю кало тебя райское древо...» (с. 75). Стихотворение посвящено Обуховой Надежде Андреевне (1886—1961) — оперной певице, исполнявшей в числе многих других арий партии Любаши в опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» и Марфы в опере М. П. Мусоргского «Хованщина». Обе героини трагически гибнут. «За дымом да слезами горькой панихиды...» — опера «Хованщина» завершается сценой самосожжения раскольников.

«Я человек, рожденный не в боях...» (с. 77). Своеобразный отклик на стихотворение С. Есенина «Русь уходящая», точнее, на следующие его строки: «Я тем завидую, кто жизнь провел в бою, кто защищал великую идею...»

Клеветникам искусства (с. 83). *Анатолій* — Анатолий Никифорович Яр-Кравченко (1911—1984), народный художник РСФСР, близкий друг Клюева в последние годы жизни поэта. Ему посвящено стихотворение «Письмо художнику Анатолию Яру», а также стихотворный цикл «О чем шумят седые кедры». *Смарагдовый* — изумрудный. *Ангютик* — (от анчутка) — сказочный персонаж романа С. Клычкова «Чертухинский балакирь».

«Кому бы сказку рассказать...» (с. 87). Сти-

хотворение относится к тому времени, когда Клюев переехал на жительство в Москву в конце 1932 года.

Разруха (с. 97). Это произведение сохранилось в архиве НКВД как приложение к протоколу допроса Н. Клюева от 15 февраля 1934 года. *Сыта* — вода, подслащенная медом, или медовый взвар на воде. *Киса* — мошна, карман. *Кошница* — корзина. *Калтун* — болезнь волос. *Верёда* — вред, болячка. *Сидонские опалы* — Сидон — древний город в Финикии. *Адамантовый* — алмазный. *Сарынь* — толпа черни.

Плач о Есенине (с. 106). Первая часть была напечатана в «Красной газете» 28 декабря 1926 года. Полностью опубликовано в кн.: *Клюев Н. н Медведев П. Н. Сергей Есенин*. Л., 1928. Поэма написана в форме погребального плача. Клюев прекрасно знал народные причитания (напомним, что мать поэта была плачущей-вопленицей). *Помяни, чертушко, Есенина* — по догматам православной церкви, самоубийство считалось грехом: налагавших на себя руки не отпевали, не поминали в церкви. *Из-под кобыльей головы...* — имеется в виду поэма С. Есенина «Кобыльи корабли» (1919). *Влас* — христианский святой, покровитель домашнего скота. Ассоциировался с языческим богом Велесом. *Афон и Саров* — православные христианские монастыри. *Чирья, Грызья, Подкожница, Удавица* — зловещие птицы-девы, персонажи русского фольклора, приносящие несчастья.

Деревня (с. 118). Впервые поэма опубликована в журнале «Звезда» (1927, № 1). Появление поэмы в печати вызвало многочисленные резкие и клеветнические критические отзывы А. Безыменского, Г. Лелевича, Л. Авербаха, О. Бескина и др. Эта поэма представляет собой плач по умирающей старой деревне и прощание с ней. «Поэма «Деревня», не гремя победоносной медью, до последней глубины пронзила болью свирелей, рыдающих в русском красном ветре, в извечном вопле к солнцу наших нив и чернолесий... Если средиземные арфы живут в веках, если песни бедной, занесенной снегом Норвегии на крыльях полярных чаек разносятся по всему миру, то почему же русский берестяной Сирий должен быть

ощипая и казнен за свои многопестрые колдовские свирели — только лишь потому, что серые, с невоспитанным для музыки слухом обмолвятся люди, второпях и опрометно утверждая, что товарищ маузер сладкоречивее хоровода муз?...» (Письмо Н. Клюева во Всероссийский союз писателей). *Басма* — грамота с печатью золотоордынских ханов. *Василий Буслаев* — герой русского фольклора. *Коловрат* — Евпатий Коловрат, рязанский витязь-боярин, погибший в неравной битве с полчищами Батыя.

Погорельщина (с. 123). Клюев считал «Погорельщину» одним из лучших своих произведений. «То, для чего я родился», — вспоминал слова поэта А. Н. Яр-Кравченко. «Погорельщине» посвящена статья В. Г. Базанова «Поэма о древнем Выге» («Русская литература», 1979, № 1). Ниже приводятся примечания Н. Клюева к «Погорельщине»:

Порато баско — весьма прекрасно.

Майка — рыбы молока.

Дюжий — преисполненный крепости, силы и исключительных качеств.

Набойка — ткань, набитая в узор резной доской, смоченной жидким раствором растительной краски того или иного цвета.

Коклюшки — палочки с головками, употребляемые при плетении кружев.

Заполовели — вспыхнули румянцем или заревым огнем (яблоня в цвету, розан, маки — всякий цвет малиновой нежной окраски).

Мстёры — знаменитое по иконописанию село Владимирской губернии Вязниковского уезда.

Кондовый — выросший на песчаном сухом грунте, подобный сплаву красной меди.

Доличное письмо — у иконописцев все, что пишется раньше лица, — палаты, дерева, горы, тварь... После же всего пишется Виденье лица.

Кросна — ткацкий станок, непременно украшенный резьбой и раскраской, иногда золоченый.

Мёрды — конусообразные плетушки для загона рыбы. Приготавливаются из ивовых тонких прутьев.

СОДЕРЖАНИЕ

Ст. Куняев. Жизнь — океан многозвонный...	5
Стихотворения и поэмы	
«Я надену черную рубаху...»	20
Александру Блоку	22
«В златотканые дни сентября...»	26
«На песню, на сказку рассудок молчит...»	27
«Вы обещали нам сады...»	28
«Сготовить деду круп...»	29
«Радость видеть первый стог...»	30
«Теплятся звезды-лучники...»	31
«Обозвал тишину глухоманью...»	32
Рождество избы	33
Из цикла «Избанные песни»	
«Четыре вдовцы к усопшей пришли...»	34
«Шесток для кота — что амбар для попа...»	35
«В селе Красный Волок пригожий народ...»	36
Земля и железо	40
«Где рай финифтяный и Сирии...»	44
«Оттого в глазах моих проснись...»	46
«Пушистые горностаевые зимы...»	49
Молитва солнцу	50
Песнь солищеносца	54
Ленин	57
«Не хочу коммуны без лежанки...»	59
«Мы — ржаные, толокняные...»	61
Железо	63
«Маяковскому грезится гудок над Зимним...»	64
«В степи чумацкая зола...»	66
«Я знаю, родятся песни...»	68
«Стариком, в лохмотья одетым...»	70

Нерушимая стена	72
«Когда осыпаются липы...»	74
«Баюкало тебя райское древо...»	75
«Я человек, рожденный не в боях...»	77
«По жизни радуйтесь со мной...»	80
Клеветникам искусства	83
«Кому бы сказку рассказать...»	87
«Продрогли липы до костей...»	92
«Есть две страны: одна — Больница...»	95
Разруха	97
Плач о Есенине	106
Деревя	118
Погорельщина	123
Примечания	151

Клюев Н. А.

К 52 Стихотворения и поэмы / Сост., предисл. и примеч. Ст. Куняева.— М.: Мол. гвардия, 1991.— 157[3] с., ил.— (XX век: поэт и время).

ISBN 5-235-01259-3

Поэзию Николая Клюева (1884—1937 гг.), доживи он до наших дней, критики скорее всего отнесли бы к «деревенской поэзии» — по аналогии с «деревенской прозой», хотя творчество его куда шире и разнообразнее. Знаток мировой культуры и защитник народного лада жизни, он был глубоко образованным человеком и мог бы внести куда более весомый вклад в русскую культуру, не распорядись с ним судьба самым трагическим образом в годы жестоких репрессий.

К 4702010202—123 166—91
078(02)—91

ББК 84Р7

ИБ № 6873

КЛЮЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

**Стихотворения
и поэмы**

Заведующий редакцией
Г. Зайцев

Редактор
С. Щербаков

Художественный редактор
Т. Погудина

Технический редактор
Н. Тихонова

Корректоры
Н. Овсяникова,
Н. Самойлова

Сдано в набор 10.09.90. Подписано в печать 10.04.91. Формат 60×90^{1/32}. Бумага офсетная №1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,0. Усл. кр.-отт. 10,25. Учетно-изд. л. 5,8. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 100 000 экз.). Цена 2 руб. Заказ 1228.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сушская, 21.

ISBN 5-235-01259-3



2 руб.

БИБЛИОТЕКА



ВЕК:
ПОЭТ И ВРЕМЯ

